
Татьяна ДАГОВИЧ

ЭКСПОНАТ

Повесть

Ich kann jedoch nur unmittelbare Feststellungen machen, nur «Geschichten erzählen». Ob sie wahr sind, ist kein Problem. Die Frage ist nur, ist es mein Märchen, meine Wahrheit?

*C. G. Jung.
Erinnerungen, Träume, Gedanken*

Я могу только констатировать факты, всего лишь «рассказывать истории». Проблема не в том, правдивы ли они. Вопрос заключается в другом: моя ли это сказка, моя ли истина?

*К.-Г. Юнг.
Воспоминания, сновидения, размышления*

С Зоэ я познакомилась в отпуске.

Отпуск часто похож на жизнь в миниатюре — лотерея: удачный, неудачный. Или вообще нарвешься на стихийное бедствие, катастрофу... Микрожизнь в жизни, когда не делаешь и не видишь всего того, к чему привык. Бабушка моя покойная вряд ли смогла бы понять наш отпуск, ей ни куры, ни земля отпуска не давали. Ну а для родителей отпуск существовал, чтобы поехать к бабушке, помочь с картошкой, заготовками. Жили своей жизнью без пауз, а мы — вырываемся из своей на неделю-другую и проживаем не свою — ускоренно, но правила те же.

Как бы ни было хорошо, не рассчитывай, что будет идеально, умеи радоваться морю — вопреки расстройству пищеварения, или душному номеру, или солнечному ожогу, или шумным соседям, или затяжному дождю, какого в здешних широтах, собственно, не бывает, или ссорам, или мусору и собачьим кучкам по пути к пляжу. Но даже если все будет хорошо, отпуск конечен — умеи принимать эту конечность. Не бойся прощаться навсегда. Не ной в последний день, когда чек-аут до двенадцати (а то и одиннадцати или десяти), и стоишь перед выбором: то ли мириться с неудобствами, мыться после пляжа в предоставленном отелем общем душе, запихивать мокрый купальник

Татьяна Дагович родилась в городе Днепрпетровске (Украина) в 1980 году. Окончила филологический факультет ДНУ и философский факультет Мюнстерского университета. С 2004 года живет в Германии. Преподавала на кафедре славистики Бохумского университета, в настоящий момент научный сотрудник Мюнстерского университета. Публиковалась в журналах «Нева», «Новая Юность», «Знамя», «Артикль», «Кольцо А», «Ното Legens» и других, на немецком языке в альманахе «Poesiealbumneu». Автор четырех книг прозы. Лауреат «Русской премии» (первое место в номинации «Малая проза» за 2016 год) и премии «Рукопись года» (первое место в номинации «Оригинальная идея» за 2010 год).

в чемодан, искать в нем мягкую «приличную» одежду и ехать в аэропорт с мокрой головой, то ли уже с утра подготовиться к отъезду и полдня слоняться по отелю привидением в гражданском среди счастливых соленых людей в плавках, парео, вьетнамках, словно болен, словно отделен от них стеклянной стеной и смотришь на уже недоступную эйфорию, довольствуясь маленькими радостями вроде последнего кофе в баре. Чем не метафора старости.

С Зоэ и странной конструкцией ее рассказов я познакомилась в отпуске, географически все еще в Европе, но на самом деле ближе к Африке, на острове в океане, куда мы с мужем и мальчиками летели в течение почти пяти часов, то придремывая, то читая (я и муж, Нильс с Марком, конечно, играли на телефонах), то глядя в окно, в котором волны казались неподвижными. Синие продольные холмы с застывшими морщинками и белыми полосами пены. Мы хотели бы увидеть китов, но возможно ли увидеть китов с самолета? Иногда мы пролетали над красивыми облаками, и начинал светиться значок с пристегнутым ремешком, рядом с вечно светящейся перечеркнутой сигаретой, тогда пилот объявлял, что мы входим в зону турбулентности, но самолет продолжал лететь сонно и мягко над задумавшимся о своем океаном — как не вспомнить «Солярис». По проходу люди пробирались в туалет и обратно, стюардессы и один стюард разносили еду, потом всякую фигню типа часов и духов по небесным ценам. Как ни странно, еда оказалась вкусной. Я восприняла это как добрый знак: отпуск будет удачен, ведь обычно в самолете кормят гадостью с парфюмерным привкусом.

Мы приближались к цели, как нам казалось, и на поверхности океана появились корабрики — игрушечные, с белыми пенистыми хвостиками, неподвижные. Хоть в морской бой играй. Ноющее ожидание: вот-вот приземлимся, опередим расписание, уже ведь рукой подать, но проходит еще десять минут и еще. Незадолго до посадки я увидела остров, однако выяснилось, что это не наш остров. Слишком маленький. Посреди острова торчала неровная скала, с которой водопадом лилось облако. Необычно красиво, я засуетилась, хотела показать своим, но им то ли не было хорошо видно, то ли не было понятно. То ли не было дела. Муж за проходом сидел, ему и не выглянуть на эту сторону. Жаль, не сфотографировала, можно было бы выложить фото.

Чемоданы мы получили быстро, трансфер оказался удобным и быстрым, отель — приросшим к скале узким строением, причем ресепшен находился на восьмом этаже, куда мы попали сразу из расположившегося наверху города, от дороги, а на первый этаж нужно было спускаться лифтом — со скалы. Здание, поставленное на голову. В огромных окнах — в ресторане, в холле, везде — перекачивал волны океан. Едва попав в номер, я переделалась, надела синее платье — собственно, купила его — совсем недорогое, чтобы ходить на пляж, но оно помялось меньше других вещей и лежало сверху. Да и выглядело неплохо, как выяснилось.

В этом отеле я и познакомилась с Зоэ. Следовало бы написать «и ее мужем Андрисом», но с Андрисом я перекинулась за все время лишь парой слов. Он был высок, светловолос и настолько интровертирован, что рядом с ним я себе казалась гиперактивным ребенком, хотя характер у меня достаточно замкнутый. По-моему, он прибалт, но я не спрашивала, сейчас даже не могу сказать, отчего так решила.

С Зоэ мы познакомилась естественно. Они с мужем общались по-немецки, но в речи иногда проскальзывали русские слова, у меня с мужем — противоположная ситуация, разбавленный немецким русский. Становилась понятна общая схема судьбы, стрелок, указывающих направление миграции: сначала постоянной, с постсоветских территорий — в Германию, а позже — отпускной, из Германии на остров в океане. И даже возраст первого перемещения: определенно до двадцати лет — у них и после двадцати — у нас. Порой эта общая схема судьбы притягивает, порой отталкивает, но в любом случае заставляет обращать друг на друга внимание. Во время первого нашего обе-

да на новом месте, хотя я больше смотрела на океан, позволяя взгляду колыхаться в воде, и училась расшифровывать непривычный вкус еды, не удержалась, несколько раз посмотрела в направлении, откуда слышались знакомые слова, — на Зоэ, в один из моментов наши взгляды пересеклись, и было неловко.

Отпуск не обошелся без мелких неприятностей. В первый день штормило, спасатели, вывесив красный флаг, исчезли, но мы четверо — муж, мальчики, я — все равно направились в воду. Если честно, я — прежде мальчиков, хотя это против логики и природы, чтобы мать сыновей-подростков первая ныряла в волны. Но мне хотелось, меня так тянуло в океан, я редко себе что-то такое позволяю. Брызги превращали меня в ребенка — в детстве я, кстати, ни разу не была на море — вечное лето в селе у бабушки, и теперь... Случайно заметила, что Марк и Нильс поглядывают на меня нервно, и потревоженная совесть едва не заставила выйти на сушу — ведь ясно, юноше стыдно оказаться трусливее мамы, и я ведь не хочу подвергать их опасности. Но напомнила себе, что они — почти взрослые, шестнадцать и восемнадцать, я не должна все время подстраиваться под их нужды и во всем защищать, это не педагогично, мы же не родители-вертолеты... Восторг немного подвял, однако мне нравилось, когда волны накатывали на меня и сбивали с ног и через нос соленое текло в рот, а я смеялась и кричала, что этой зимой ни у кого из нас не будет простуды, ну и получила, что заслужила.

Одна из волн сбила так, что я потеряла контроль, вращаясь в водно-песочной взвеси, меня протащило по камням, несколько раз швырнув, а когда я обрела наконец ориентацию, смогла выбросить тело из воды и начала заново дышать, надо мной стояли трое испуганных мужчин. Муж и внезапно взрослые мальчики. Ну что — пара синяков и царапин, лодыжку повредила, не трагедия, но нога опухла, а я стала хромой медленной черепахой. Мне ничего, но вечером пацаны маялись с телефонами, дискотек или чего-то подобного в округе не было, и я отправила их с мужем на прогулку, смотреть на крабов. Только на всякий случай — в шутку, но кто их знает с их мальчишескими инстинктами — запретила животных ловить.

Крабы на этом острове живут гигантские, какие-то лавкрафтовские, лиловые и пурпурные, на закате они выползают на камни. Мои сделали сотню фоток, позже я выложу. Я же в одиночестве сидела в баре с безалкогольным коктейлем и смотрела с высоты восьмого этажа на плывущие по черной воде огни в странном, но приятном оцепенении. Мне не было жаль, что я не могу ходить, мне ничего не хотелось, время от времени я прикасалась губами к соломинке, но тут же отпускала. Музыка играла дурацкая, но я научилась отключаться. Через полчаса ко мне подошел мужчина. Однако прежде чем он успел заговорить, я прошептала на своем самодельном английском, что пью безалкогольный коктейль. *I'm drinking one alcohol free.* Нильс наверняка сдавленно прошептал бы «мам-м-м» и позже объяснил бы, как следует говорить правильно, да бог с ним — как умею, так общаюсь. Секунды две-три мужчина смотрел непонимающе, но потом, видимо, до него дошло, что я здесь не одна, что отдыхаю как мать семейства, за которым надо следить, а это несовместимо ни с алкоголем, ни со стремительными эротическими приключениями. Кажется, был француз, у них все совместно — семейность, вино, эротика, но у меня — кем бы я ни была — нет. Я — как Зоэ, которую тогда еще не знала. Непонятно кто. Человек с жизнью за спиной, с океаном перед глазами, с огромной пустотой перед глазами...

Впрочем, возможно, он просто что-то хотел спросить — я тщеславна, как большинство привлекательных женщин. Я знаю, что привлекательна. Что пепельно-русые волосы мои ложатся волной без всякого фена, от любого ветра и что глаза блестят — мне больше нравится, когда говорят, что глаза у меня серые, а не голубые, голубые — пошло. Вероятно, некое количество лет я буду по-прежнему привлекательной. По-прежнему, нанося вечерний крем, буду вглядываться в отражение с легким удоволь-

ствием и легким недоумением: а для чего, собственно, привлекательность, то, к чему все стремятся? Если я не ишу стремительных эротических приключений — для чего? Хотя классической красавицей меня не назовешь, привлекательна — и достаточно. А позже будет — как там в романах девятнадцатого века? «Со следами былой красоты».

Однажды я была с мужем на рождественском корпоративе его фирмы. Естественно, прическа, макияж, платье — все такое... В конце, собираясь уезжать, мы с мужем подошли к их главному шефу — попрощаться. Приятный такой мужчина средних лет, молодой дедушка. Прощаясь, он посмотрел на меня. Вроде бы всего на секунду, я даже не назову этот взгляд оценивающим или раздевающим. Скорее, в нем читалось уважение, но не ко мне, а к мужу: мол, да, чувак, восточноевропейские красавицы дорого стоят, теперь понимаю, к чему свехурочные и зачем тебе повышение. Разумеется, мне хотелось заорать: «Я не такая, я жду трамвая», у меня диплом, и приехали мы вместе. Но в то же время это льстило, стыдно льстило.

Ну так вот, я сидела одна, потягивала свой коктейль, а Зоя подседа часа через полтора, и Андрис сначала был с ней. Среднего роста, смугленькая, довольно стройная, моложе меня, как мне показалось — около тридцатки, симпатичная, но не то чтобы какая-то особенная, с темным хвостиком, с челкой, слегка сутулая, что меня отталкивало, словно недостаток гигиены: можно же поправить упражнениями или массажем. Подошла, спросила по-русски, можно ли им присесть. С легчайшим акцентом, какой наверняка есть и у меня. Все другие столики были заняты шепчущимися на разных языках парами, компаниями, семьями, лишь я занимала так много пространства одна. Хотя, может быть, она вовсе и не моложе, а старше меня. Вначале я оценила ее как (пока, по крайней мере) бездетную, потом она упоминала о ком-то, кто мог быть детьми, тремя, и много говорила о работе... Это меня зацепило, как обычно такие вещи цепляют — вот кто-то, кто смог все, чего не смогла ты, и где ее дети, интересно, у бабушек? с нянями? ах, уже взрослые, живут своей жизнью, тогда не может быть тебе, дорогая, тридцатки — а сколько? Но такого тоже не может быть. Если честно — не зависть была в моем интересе, а бабское любопытство: а дети какие? А как рожала? А сколько им? А где? Может, и девочка есть, где-то здесь, в номере, а то Нильс мой школу окончил, а девушки не нашел.

Даже когда в один из наших общих вечеров Зоя позвонила и она беззастенчиво вынула из сумки маленький MacBook и без объяснений взялась за решение каких-то неотложных вопросов, в совокупности выглядевших «работой»: принялась что-то печатать, отправлять, нервно вздыхать, возмущенно цокать языком, звонить и с кем-то общаться на английском (так быстро, что я толком не понимала о чем) и тамильском (это я уже так решила — откуда мне знать, что за щебет), — даже тогда меня не мучили комплексы домохозяйки. Наоборот, мне становилось немного смешно: ее озабоченность выглядела настолько естественной, что становилась нарочитой — ведь при посторонних невозможно заниматься своим делом естественно. Я понимала, что где-то что-то на самом деле происходит и решается, но мне казалось, будто вся эта активность — спектакль, разыгранный специально для меня. Чтобы показать собственную значимость.

Однако в начале нашего знакомства, когда она попросила разрешения занять свободное место за столиком, по-моему, я и не ответила даже, я просто выразительно опустила голову — медленный кивок, не нарушающий оцепенения. Они с Андрисом сели, заговорили между собой шепотом, я не прислушивалась. Кажется, всплывали какие-то пещеры, и музеи, и какие-то знакомые азиаты в их беседе... Потом она обратилась ко мне, представилась. Я думала, что Зоя — европеизация имени Зоя, но она объяснила, что мама ее так и назвала, заранее готова к эмиграции. Потом Андрис ушел —

ночная рыбалка, сказал он очень сдержанно, но глаза сверкнули азартом. Не понимаю, зачем убивать дополнительно рыбу, если все включено. Мы с Зоэ остались вдвоем.

Так, вдвоем, беседуя, мы провели несколько вечеров. Даже больше, чем несколько. Опухоль на лодыжке спала, но я имитировала боль, чтобы не идти после ужина на прогулку с мужем и мальчиками, а подняться в бар, к ней.

Вечером как-то муж сказал: «Я думал, мы приехали, чтобы провести время вместе», — и я, сама не знаю почему, взорвалась: «Мы уже больше двадцати лет проводим время вместе, могу я отдохнуть!» Конечно, была обида — с обеих сторон, и мы поругались — шепотом, чтобы пацаны не слышали в соседней комнате. Потом успокоились. Потом — тоже шепотом — то, что на стремящемся к точности немецком называется *Versöhnungssex* — секс примирения. И не одобряется психологами. Но мимолетная и нелепая правда заключалась в том, что едва муж и мальчики уходили вечером, они словно исчезали из моей жизни, словно становились посторонними людьми. Так странно — после всех моих тягучих материнских страхов, высчитывания минут до приезда, до прихода, неумения отпустить. А — здесь так....

Я думаю, Зоэ много врала мне. В ее рассказах часто дебет с кредитом не сходился. Но меня это не тревожило. Какая мне разница, есть ли у нее дети, кто ей Андрис, на какие или на чьи они выбрались на остров в океане. Какая мне разница... Я говорила правду.

В первый же вечер я рассказала Зоэ о Джо. Кому еще я могла рассказать за полгода, прошедшие с его смерти, — словно снова обнять мохнатую шею, уворачиваясь от языка? Не чистая овчарка, и это было заметно: в Джо угадывалось нечто по-детски дворняжье. Он прожил с нами четырнадцать лет. В последние часы я лежала напротив него на полу. Пасть его была открыта, он дышал тяжело — так бывало раньше, если слишком много бегал, но он уже давно не бегал. Из рта пахло, как обычно, зверем, но еще воняло, как в последнее время, болезнью, поражением. Мальчики в школе, муж на работе. Я понимала, что Джо умирает, ветеринар сказала за день до того. Не знаю, в какой момент Джо сам стал догадываться. Он долго сопротивлялся, когда сопротивляться уже не было смысла, но мы — все четверо — не могли согласиться помочь ему, как предлагала ветеринар. Женщина, такая приятная брюнетка с длинными волосами, с едва заметными добрыми морщинками и вечным сочувствием на лице. Вы не виноваты... Но не могли согласиться на это. Я лежала напротив, вспоминала, гладила его. Потом рука снова падала и застывала. Он смотрел на меня, ведь я всегда решала все его проблемы, раньше всегда могла. Глаза прозрачные, янтарные, отчаявшиеся. Время от времени проводила рукой по его спине... Вечером мы вчетвером плакали. Уже увезли. Все это было очень тяжело.

Но когда я проснулась через день, я испытала облегчение. Приготовив завтрак, сделав для всех бутерброды, проводив на работу, в школу, я снова легла в кровать. Обычно все эти годы, я, открыв все окна в доме, чтобы проветрить после ночи (это было первое, что я делала для квартиры), шла гулять с Джо. Мы шли в парк, у Джо был длинный поводок, но если погода баловала, он запрыгивал в машину, и мы ехали на площадку, где он мог вдосталь бегать без привязи. Мне нравилось наблюдать его свободу. В последнее время все, конечно, было иначе: утро начиналось с процедур и уколов. Я сама научилась делать. Но когда я проснулась через день, я не скучала по временам, когда мы вместе шли гулять. Я испытывала огромное облегчение и огромный покой оттого, что ничего не нужно делать. Никуда выходить. Просто лежать. Как в детстве, когда из-за легкой простуды разрешили не идти в школу. Окна открыла, забралась под одеяла (ведь была еще зима) и лежала, глядя в потолок.

Я могла бы пойти бегать — я люблю бегать в парке, но на это всегда так сложно найти время. С Джо бегать не получалось, он не тот пес, который будет передвигаться

в равномерном темпе, иногда я выходила после его прогулки или его лекарств, раз-другой в неделю мне удавалось побегать, но не ежедневно, как хотелось. А теперь я лежала. Посреди своего дома, под потолком. На самом деле не дом, а квартира, хорошая просторная пятикомнатная квартира на весь этаж, в центре города, в старинном доме, но отремонтированная по современным стандартам. Рамы замаскированы под многовековые, а на самом деле отличные стеклопакеты. На первом этаже кабинеты врачей.

До болезни Джо я подрабатывала администратором в одном ресторанчике. Мои маленькие демарши в мир оплачиваемого труда (Word — Excel — пусть самодельный, но английский, отличный русский, а главное — спокойный приятный голос в телефонном общении и знание формул вежливости в электронных письмах). За минимальные деньги помощь тем, кому трудно со всем этим возиться самим... не на полную ставку и не на полный день, конечно, так, чтобы утром быть свободной для выгула собаки (вечером гуляли сыновья или муж, уговор).

Когда я выходила на работу, квартира мне мстила хлопьями пыли, мокрицами на стенах, пауками в углах, волосами в раковине, горами неглаженного белья, пустыми пакетами и конвертами повсюду... О шерсти я молчу. Квартира бунтовала — словно собственное тело бунтовало против меня, я терялась, теряла себя. Словно болезнь. Но хуже другое: я знала, что оставляла ей, квартире, заложника, которого она медленно обездвигивала, пожирала. Тихий скулеж — «возьми меня с собой» — когда я уходила после укороченной — «ну делай же свой дела» — прогулки. Немая тоска пленника в глубине янтарных глаз, когда я возвращалась, когда мокрый язык шлепал по моей коже — «ну хорошо, хорошо, дай мне помыть руки» — радостные выкрики, танец, ритуал, что он делал без меня — лежал на диване, целый день лежал на диване, его жизнь проходила и медленно превращалась в смерть из-за моих нескольких сотен евро, не столь уж остро нам нужных. Я не продлевала контракты, возвращалась домой, но все-таки досадно и скучно носить клеймо домохозяйки, так что снова искала что-то, выходила... Такие качели. Порой я подумывала взять помощь по хозяйству, чтобы убирал кто-то другой. Но чужой человек в доме... и как отнесется к собаке...

В тот день, уже без Джо, выбравшись из постели только к полудню, я пила кофе, чашку за чашкой, тихо дрейфуя в своем времени. Переживая свою свободу, как переживала его свободу, когда возила на площадку. Впервые за все годы с того момента, как мы мальчишкам принесли к Рождеству щенка. А этот отпуск у нас за годы первый, когда не приходилось решать проблему с Джо. Кто позаботится о нем в это время. Мы просто взяли и полетели. Перед отпуском муж начал заводить разговоры о щенке. Мол, съездим и купим. Но я — наотрез отказалась. Все это сначала... Наотрез.

Зоэ, в отличие от меня, пила коктейли с алкоголем, выпивала очень быстро, почти залпом, и тут же заказывала новый. Такой способ употребления не очень-то подходит к коктейлям, но бармен был рад, все время делал ей — ироничные, как мне казалось — комплименты. Тем более цены на коктейли (не включенные, вопреки all inclusive) были довольно высоки. Я прикидывала, во сколько ей обходится вечер и столько алкоголя может перенести ее шуплое тело. Говорила Зоэ хриповато, как говорят много и давно курящие женщины, но с сигаретой я ее не видела ни разу. Может, она всего лишь простудилась на соленом ветру. Внизу черный океан вытягивал волны, словно руки, словно потягивался. Так и хотелось протянуть ему руку в ответ. Выйти за створку окна и вытянуть руку далеко-далеко.

А Зоэ говорила: знаешь что, я тебе расскажу про одну выставку, как мы ходили... Ты слышала о Ротонде? Там на самом деле... Но потом начинала с каких-то других событий, и мне было трудно сориентироваться, что было раньше, что позже, что когда, что с ней, что не с ней. Да и не слушала она меня совершенно.

Я говорила ей, что Джо — ужасное имя для собаки, потому что нет окончания, мы его и Джокой, и Джоней называли, и объясняла, что мне Джо ближе, чем мальчикам, чем всем. Ведь именно я была с ним целый день, а не пацаны, хотя официально это им подарок. Мы с Джо проводили целый день вместе, а другие приходили только позже, во второй половине дня, к вечеру. За эти годы я гораздо больше времени проводила с Джокой, чем с мужем и детьми. Мы понимали друг друга. Звук проскальзывающих по ламинату когтей был для меня как звук собственных шагов, и дыхание, забавное сопение, порой хрюканье даже — как звук собственного дыхания, как собственное покашливание. Не замечаешь, но всегда есть. Улыбка, приоткрытая пасть, запах, веселье, ни один человек не способен к такому настоящему веселью... Мертвое тело было слишком тяжелым, и пасть неестественно криво разинута, морда искажена, глаза открыты, но это память выдала только на секунду, я выдохнула — и нет ничего, как ничего и не было, этого я не сказала.

Когда я готовила, он всегда приходил на кухню, смотрел преданно, сидел неподвижно, но напряженно, словно пружина внутри. Навострив уши. У Джо вообще уши были до старости, как у щенка: торчали вверх близко-близко одно к другому. Я резала мясо, и он начинал едва слышно поскуливать, разыгрывал драму, пока я не бросала ему кусочек — какую-нибудь жилку, обрезок, — знала, что это нехорошо, что ему корм надо есть, но он мигом срывался, кидался на кусочек, будто на лесную добычу, такой здоровый пес на малюсенький обрезок, и, виляя хвостом, слизывал...

А что Зоэ? Ей бы только рассказывать о своих приключениях, как со всеми детьми (своими или чужими, какой-то проект — благотворительный, что ли) была в Африке, работала, колодцы там какие-то... Ее укусила змея. Но успели спасти, в последнюю секунду успели, и она валялась под огромным вентилятором и капельницей в госпитале, похожем на пляжный навес, на простыне, на которой умерло уже, наверно, два десятка — а она повалилась и выжила. Она видела эту змею до укуса, змея была серого цвета, и Зоэ почему-то уверена была, что змея не ужалит, и глядела на нее, это было некой шуткой — ядовитые змеи, и фактически Зоэ дала ей время спокойно впиться зубами в большой палец правой ноги. Боль была неожиданной, последующие симптомы крайне неприятными, жуть, такого она не ожидала.

Так что когда она спросила, что у меня было с этим Джо, я неожиданно для себя свернула в неизвестную степь: я сказала, что Джо — американец. Что у нас с ним были отношения. Я на ходу выдумала историю, отчасти комичную, отчасти трагичную, муж, конечно, ничего не знал. На самом деле я никогда не изменяла, и в момент разговора меня это удивило — за столько лет. Все-таки я женщина небезынтересная. Весь этот океан времени, за который я так изменилась, но ни разу не изменила. Может, дело здесь не в любви (я не хочу сказать, что не люблю мужа, терпеть не могу всю банальную мурку «а на самом деле за счастливым фасадом...», просто, я так думаю, одна любовь не всегда может помешать появлению другой — одновременной любви, было же у меня в юности — такой далекой, будто была и не я), а в моем нежелании открываться перед кем-то еще. Мне достаточно мужа и сыновей. Кроме того, это было бы нечестно, потому что я уверена, что и муж мне никогда не изменял. Само собой, он врал мне время от времени, говорил, будто работает, а сам играл на компе, но в этом не врал. Если человеку с рекомендацией для аспирантуры остается один объект исследования, уж этот объект будет исследован досконально. Наша взаимная верность показалась мне чем-то стыдно-инфантильным, отчего выдуманная история до краев переполнилась страстью.

И когда Зоэ спросила (снова мимоходом, мы болтали, попивая коктейли, отвлекаясь, надолго замолкая, глядя сверху на волны, мы уже давно перебрасывались фразами о чем-то другом), что случилось с моей собакой — ведь у меня вроде была собака —

и как ее звали, — я рассмеялась. Может, мне даже нравилось, что она меня совершенно не слушает? В какой-то сказке герой говорил в дупло дерева, потому что ему хотелось что-то такое рассказать, что никому нельзя было слышать.

Иначе почему бы это случайное знакомство стало для меня важным, если, признаюсь, особой симпатии в Зоэ я не испытывала? Иначе почему бы я рассказывала ей это все? Что заметила не сразу, а когда уже мы прожили в квартире лет пять-шесть: не сходится. Квартира на весь этаж, но не совпадает со схемой фундамента, в одном месте выступающий угол, площадь квартиры меньше, чем площадь фундамента. Я вычислила стену, за которой должны быть какие-то помещения. Небольшие, но в них нет входа. Тайная комната. Конечно, скорее всего, там трубы или проведены электрические кабели. Но мне стало ясно, что там лестница. С самого начала, с момента, когда я догадалась и подошла к той стене. Прислонилась. Это в прихожей у нас. Я думала, сколько же там должно быть пауков, мокриц, грязи, если помещение замуровано. Лестница никуда не ведет. Она там со средневековья. У нас-то есть нормальная лестница и лифт, шахта которого пристроена с внешней стороны к старому зданию. Все удивляются, когда приходят, но надо как-то делать эти фахверковые дома жилыми.

Незадолго до отъезда я стояла у этой стены. И мне было понятно, что Джо сейчас там. Рядом со мной. За стеной. Что мы не можем уехать, я даже придумывала, что сказать страховке, чтобы наш тур аннулировали. Я слышала, как он дышит, я почти видела его, и мне захотелось разбить стену — как он там один, ему же страшно! И сразу: надо кормить его, выгуливать, надо... все эти гирьки. Только через пару секунд вспомнила, что он умер.

Почему я отчитывалась перед Зоэ, сколько ночей мучилась оценками Марка, а сколько — страхами, что Нильса затравят в школе. Ночи, в которые проблемы в моей голове распухали и приводили в абсолютной катастрофе — и их, и меня, всю семью, весь мир, все умирали и пропадали, и казалось, что дом рассыпается.

Или рассказывала о кабинете дерматолога на первом этаже, у нас же в доме: я ведь всегда хожу на все профилактические осмотры и своих таскаю, будто верю в бессмертие. Дерматолог рассматривал через стекло мои родинки, а я думала, что именно так пятьсот лет назад здесь же искали признаки связи с дьяволом — те же голые женщины, те же пристальные мужчины, приглядывающиеся к родинкам. Ведь я была историком. Уже нет, но была — по диплому. Я не смотрела на Зоэ, мой взгляд тонул в волнах, и оказывалось, что я хлещу свой безалкогольный так же жадно, как Зоэ свой алкогольный, начиная рассказывать о выставке.

Этот рассказ ее длился несколько вечеров, почти весь отпуск, и он вытеснил все мои слова. Я замолчала, дупло замазали цементом. Молчала, словно губы срослись. Не пыталась перебить, смотрела вдаль, в воду, над которой сначала вскрикивали чайки, потом, когда свет уходил, плыли отражения огней. И в отличие от Зоэ, пропускавшей мои слова мимо ушей, я прислушивалась и старалась запомнить.

* * *

Они вошли в комнату, после яркого света коридора показавшуюся достаточно темной, не только из-за слабости света, но еще и из-за густого воздуха. Маленькое окно было не полностью затянуто выцветшей шторой — ткань висла на оборванных петлях, обнажая немытое стекло, но что за ним — трудно разобрать: темнота, ветви, плющ, выглянуть невозможно, как невозможно подойти к окну: мешал письменный стол. Андريس сел на стул, Зоэ села на прокуренный диван. Вытянула ноги. За ее спиной, за спинкой дивана стояли книжные шкафы — очень неудобно, доставать книги почти нереально. Андريس смотрел на потрепанные корешки над ее головой, наверно, пытался

разобрать названия. Зоэ смотрела на заваленный письменный стол, чтобы понять, что за предметы на нем. Прежде всего бумага: целые и разорванные листы, исписанные и скомканные бумажки, обертки от конфет, потом: опрокинутые пробирки с засохшим осадком, в одной, кажется, что-то жидкое, сломанные карандаши, одна целая и одна раздавленная флешка, лоскут ткани, книга с оторванной обложкой, из-под которой выглядывают провода, на проводе — огрызок.

Зоэ уперлась руками в диван, покачиваясь, будто движение могло разогнать этот скользящий запах: ненавидит его, никотиновый дым всегда пробуждает ассоциации — «мужики», иное пространство до начала календарного времени, континуум не столько неприятный, сколько несовместимый с реальной жизнью. Зачем их привели сюда. Андрис наконец оторвал взгляд от книг и посмотрел на нее, во взгляде то же, что в окне. Она подумала, что их привели сюда, чтобы они занялись сексом, вероятно, на этом диване, и приближающееся фиаско показалось расширяющейся пустотой под ребрами, как если бы в грудной клетке могла вместиться бесконечность. Опустила взгляд на пол. Не голый, некий коврик все же присутствует — затертая дорожка. Представила, что некогда эта дорожка была зеленой. Хотя, возможно, бордовой? Больше бы света, она бы точно определила. Ее ступня, обутая в белую кроссовку. Начала болтать ногой. На полу клочок скомканной бумаги и наручные часики, еще из-под дивана косо выглядывает угол листа с крупно пропечатанными буквами, на нем несколько комочков пыли. Буквы темные, но не черные. Синие, что ли? Посредине написано «Глобальное потепление». Ниже: «Скоро закончится ледниковый период, льды тают, и вода смывает всю мерзость. Новые животные захлопают хвостами по волнам. Люди должны выполнить свою миссию... (далее не видно)... топить лед теплом сердца... да не знает преград... жение...»

Все — остальное под диваном. Зоэ хотела бы предложить Андрису перейти сюда, к ней, сесть рядом. Если сидеть какое-то время очень близко, возможно, что-то еще шевельнется внутри. Подойти с этой стороны к осуществлению проекта. Пока что грудь кажется деревянной, живот — целлофановым, и кожа грозит сжаться, образуя шипы, грозит, но нет, скорее мечтает, для человеческой кожи такой способ защиты невозможен. Но если... Но им все равно запрещено говорить, так что — ни фига.

Он встал со стула, побродил по комнате туда-сюда, наконец наступил на что-то с силой. Засветилась грушеобразная лампочка в желтом перекошенном торшере. Сразу в комнате появились цвета, пропитанные желтым, и стало ясно, что коврик когда-то был бордовым, а буквы на выглядывающем из-под дивана листе — фиолетовые. Еще свет позволил заметить открытую банку шпрот на подоконнике.

Андрис продолжал беспокойно ходить по комнате, заглядывал в углы. Тоже заметил шпроты, схватил, перегнувшись через стол (практически лег на него животом), из-за шторы выхватил вилку.

«Ты что, они испорченные!» — едва не вырвалось, но говорить-то нельзя. Подняла глаза к потолку, пригляделась к теням. Андрис съел всего пару рыбок, явно не от голода, а от нервного напряжения. Капля масла, достигнув коврика, некоторое время полежала на нем, потом впиталась, превращаясь в темное пятнышко среди других пятнышек. Зоэ смотрела на пятнышки. Они оставались неподвижными, но она легко представила себе их движение, эти шарики в их мембранах, о, водоотталкивающие-гидрофобные, о, жаждущие воды-гидрофильные, и их мягкие цитоскелетики в ласковой плазме, пахнущей приятно. Клеточки, клеточки, ядрышки, вакуоли, все в движении, все в работе, все живет.

Вздрыгнула. Андрис положил руку ей на плечо — очень неудачно, некстати, еще уменьшив шансы на какой-то вразумительный сексуальный контакт между ними, она даже скорее не вздрогнула — ее передернуло, будто он чужой, будто агрессор, а на са-

мом деле они знают и помнят друг друга уже так долго и любят, любят друг друга долго. Да. Вот его хорошее лицо, его мягкие волосы. Видела по нему, что он так же далек от цели, как сама. Во второй руке, растопырив пальцы, он все еще держал консервную банку.

Посмотрела на эту банку и перевела взгляд на стол. Теперь из-за круга света от торшера та часть комнаты казалась утопающей во мгле, но Андрис понял ее, он отошел и поставил банку на стол. Что-то его там заинтересовало, он нагнулся над столешницей, замер, кажется, читал. Зоэ подумала о книгах, которых в комнате было множество, но так неудобно: диван стоял не впритык к полкам, так что не дотянуться, но и не достаточно далеко, чтобы можно было протиснуться. Только если встать на диван, может, что-то получится достать, но он такой старый, продавленные пружины, еще развалится под весом тела. А книги внизу — мертвый груз, к ним не пробраться. Еще были полки справа от стола, к ним стол придвинут вплотную, часть полки закрыта шторой, часть перекрыта столом. А она бы с удовольствием что-то почитала, это развлекло и расслабило бы, и там кто знает...

Андрис оторвался от того, что приковывало его внимание, так же внезапно, как увлекся, прошел, сел рядом с ней, сгорбившись, сцепив руки между расставленными коленями. Зоэ положила свою ладонь на его ногу, растопырив пальцы, которые тут же стали двигаться, будто наигрывать мелодию, хотя она лет пятнадцать не прикасалась к нелюбимому фоно.

Те, кто привел их сюда... Она вскочила, чувствуя необходимость спросить у тех, необходимость столь острую, что сам вопрос исчезал, может, не вопрос — жалоба на то, что невозможно заниматься сексом в таких условиях, и хочется взять книгу, но невозможно, она подбежала к двери, всколыхнув густой от пыли и тяжелых запахов воздух, но то, что ей показалось дверью, было еще одним книжным шкафом, заставленным старой поломанной гладильной доской, и здесь до книг не добраться, да и зашли-то они не с этой стороны, а с какой? Менее уверенно сделала несколько шагов к другой стене. Андрис следил за ней с дивана.

Если они не смогут сейчас, что будет? Конфликт перерастет в военное противостояние. Где? Она забыла. И тут же вспомнила другую комнату, зал... Как все было иначе!

...Туда они вошли через два разных входа и сразу почувствовали легкость воздуха — она видела, как вздрогнули его ноздри. Очень свежего воздуха с невесомым цветочным налетом, с движением. Это было странно, потому что в помещении не было окон. На бледно-голубых стенах зависли светильники, и давали они столько лучей, и такие лучи будто были малюсенькими солнцами. Тени ложились на пол солнечные, хотя и путаные. Были оба, Зоэ и Андрис, одеты в белое, в ткани серебрились отдельные нити. За широким письменным столом стояло существо, в котором быстро узнала ангела. Похоже, это его крылья колебали воздух, создавая ветерок — их неуловимые движения порождали свежий сквознячок. Довольно широкие крылья, не полностью белые — с серыми ворсинками, растрепанные слегка, как у старой птицы. Правильное лицо ангела с длинноватым носом было гладким, белым и матово поблескивающим, словно под слоем тончайшего белого стекла. Рук не было, что показалось Зоэ логичным с точки зрения эволюции конечностей. На тело было накинуто нечто белое, тоже с серебряной нитью, хотя было ли под тканью тело — неясно, может, ткань телом и была. Ангел серьезно рассматривал бумаги на столе, время от времени бросая взгляд на очень тонкий, фактически двумерный монитор. Но в разводах и значках Зоэ ничего не улавливала.

И до того ли ей было! Она часто дышала от волнения, смущалась, в ее руках дрожал букет цветов. Едва завидев Андриса, улыбнулась, чувствуя ямочки на своих щеках,

напряженный живот, гладкость ступней на стеклянном полу, впадинки под коленями, по которым скользил воздух, и его приближающееся тело. По улыбке Андриса можно было понять, что он так же чувствует ее тело, и свое, потому что она ощущала, как поднимается и опускается его грудная клетка, как подбородок приподнимается над шеей, как то напрягается, то снова напрягается его пенис, словно скользят по нему полосы света, и ощущала светом свою вульву.

Они стали рядом, лицом к ангелу, и взялись за руки — ладони оставались беспокойными, то сжимались, то расслаблялись, пальцы искали, не замирали ни на мгновение. Это тоже было общение.

Ангел поднял на них глаза.

Пошатнулись, посмотрев в эти глаза, словно все, кроме них, исчезло: глаза были огромны под перистыми ресницами, казалось, они наползают один на другой, как когда слишком близко придвинешь лицо к чужому лицу, и радужки, снежно-голубые, вмещающие в себя все знания, словно затягивали в бесконечность зрачков, и в мягком блеске их, в прозрачности и в темноте были все нужные смыслы, и почему-то какая-то затаенная обида, как всегда, в больших детских глазах, и вся возможная радость, и момент освобождения от боли.

— Ну вы, наверно, разденьтесь, что ли, — сказал ангел.

Зоя это удивило, она считала, что раздевание — после брачной церемонии, но почему так считала и логично ли это — трудно понять, так что положила букет на пол. Они скинули свои белые одежды и остались нагими, удивляясь совершенству собственных тел, совершенству, которое не замечали до сих пор, вечно придираясь, подвергая корректировке — о, тогда они были еще очень молоды, пусть не невинны, но не виновны, и словно заранее кем-то предназначены один другому. По потолку летали облака в белых лучах, и ангел сказал:

— Ну что, вы согласны? Тогда распишитесь вот тут, — кивнул на бежевый лист.

Сбивая друг друга, они подошли к столу и по очереди расписались. Потом вернулись на свои места.

— Объявляю вас мужем и женой, — сказал ангел буднично, и за спиной захлопали и засмеялись. Зоя гадала: кто стоит за спиной, предки до восьмого колена? Но когда она наклонилась к Андрису — маленький, невинный и официальный поцелуй, увидела, что там, на полях, за отсутствовавшей стеной зала, взлетают стаи птиц, и шум их крыльев кажется аплодисментами и смехом.

Их глаза, очень близко друг к другу, казались одним вытянутым глазом, все четыре глаза — один вытянутый и бесконечно глубокий глаз ангела. После церемонии они оделись под музыку (кажется, было что-то из Ника Кейва) и посмотрели — куда им теперь идти...

Андрис задремал. Он сидел рядом с Зоей, почти прижавшись, но от близости желание не проснулось, она только ощущала тяжесть его навалившегося сонного тела и передвинулась так, чтобы дать ему опустить голову ей на колени. Он прошептал что-то благодарное, она видела в полумраке, как шевельнулись его губы, и замерли. Провела рукой от виска по его щеке, закрытое веко дрогнуло. Глядя на его профиль у себя на коленях, Зоя вспоминала их первые встречи.

Все это было невероятно давно, лет десять или сорок назад. И трудно сказать, когда они встретились впервые, потому что они вращались примерно в одних кругах и видели друг друга, видели как-то по-особому, так что Зоя достаточно быстро поняла, что это уже влюбленность, и в его взгляде проскальзывала такая нежность, что она удивлялась: неужели это с ней происходит, да, самым сильным чувством было удивление. Стояло начало лета. Непривычная радость наполнила ее жизнь — бессюжетная,

непритязательная, просто мир немного согрели, немного раскрасили, украсили интересом, как елку шарами. И почему-то, уверенные во взаимности, они двое не спешили сближаться, не спешили подходить друг к другу, скорее даже избегали — то есть искали мест, где их взгляды могут пересечься, но избегали таких, где они окажутся наедине или будут вынуждены говорить друг с другом, будто знали, что им что-то гарантировано, как дитя, что не спешит распаковывать подарок, откладывая приятный миг. Или будто знали, что рано или поздно их ожидает эта комната, и неосознанно старались отдалить момент.

Обхватила руками его голову, но он не проснулся. Что же делать, что же делать... Андрис дышал ровно, Зоэ любила звук его мерного глубокого дыхания, по которому всегда могла понять, что он уже не здесь, уже во сне, и угадывала, что за сон. Сама обычно засыпала дольше.

...Когда они впервые оказались рядом и без чужих, она наклонила голову, и ее левая щека коснулась его правой, он обнял ее, и несколько секунд они стояли так — неподвижно, обнявшись, как внезапно обнимаются близкие, узнав о чьей-то смерти. В долгожданном прикосновении было столько нежности, столько любви, что казалось, они вот-вот задохнутся или переступят какую-то страшную границу — это, видимо, и произошло: на них нахлынуло желание, и теперь его уже нельзя было обмануть ничем, никакой влюбленной сонливостью, никаким сомнамбулизмом побегов друг от друга, наблюдения издалека. Нежность превратилась в совсем непохожую на нее жадность, в эгоизм каждого, и их первый раз был быстрым. За эти годы бывало и лучше, бывало и хуже.

Хотя можно ли утверждать, что он пережил все это так же, как она? Допустим, люди говорят, что любят друг друга, свадьба и хеппи-энд, но мы-то знаем, что люди не употребляют слова одинаково, может быть, они имеют в виду совершенно разные вещи, и Андрис, если бы он мог узнать, что чувствует она, был бы огорошен, разочарован или испуган, и наоборот... Верно ли она угадывает его сны, на самом ли деле попадает в них? А он в ее снах — настоящий ли? От сомнений и оттого, что, боясь разбудить Андриса, она не шевелилась, на нее стала напозать сонливость. Корешки книг, пустые чашки плыли перед глазами, грязь уже не вызывала отвращения, запах курева не вызывал отторжения, баловалась и сама когда-то, комната казалась допустимой, несколько раз ее веки опускались, она вздрагивала, просыпаясь, потому что шее и голове было неудобно — не на что лечь, опереться. Постаралась осторожно склониться на подлокотник, но не получилось, слишком далеко.

Пыталась удержать в себе нежность, однако постепенно нарастало раздражение против Андриса: наверняка диван раскладывается, если бы он не уснул так внезапно, оба могли бы удобно устроиться. Осторожно выскользнула, укладывая его голову и туловище на мягкую прокуренную поверхность. Втайне надеялась, что он ненадолго, не всерьез спит, проснется от движения, но сон был крепок. Самой места не хватало. Зоэ подтолкнула ноги Андриса и уложила его полностью, затем, лелея обиду, устроилась на полу. Было жестко и неудобно, но взгляд попал под диван. Листик с фиолетовыми буквами, пылью. И еще что-то. Там было много всего, но в темноте не разглядеть. Сон оказался сильнее неудобств, Зоэ засыпала.

...Пульсация синего света в темноте — что за пульсар? Огни, свет, боль в щеке, в левой части головы, светящиеся точки. Глаза Зоэ широко открыты в беспокойную темноту. Точки в воде — да, здесь вода, круглая рыба с открытым зубастым ртом и фонариком на лбу. Красная медуза в светящихся синих точках, пульсирующих светом. Стоп, никакой воды, рыб. Она еще не поняла где, но поняла что: бессонница. Последние три года так и спала: иногда часами лежала в темноте, прежде чем заснуть, боясь

дышать, чтобы не разбудить Андриса, но если уставала настолько, что засыпала сразу, то еще хуже: просыпалась через полчаса, и все. Полное бессилие уснуть. Сейчас ее левый глаз был открыт под диван, а правый — на толстую ткань дивана. Она отодвинулась — болели все кости и хотелось в туалет. Поднялась.

Андрис лежал на диване поджав ноги. Руки перекрещены на груди, кулаки прижаты к подбородку, рот приоткрыт. Его лицо так мало похоже было теперь на то, в день свадьбы, настолько старше, но все равно что-то детское сквозило в чертах: беззащитность, которая уходит с годами школы, но с определенного возраста постепенно возвращается. Ее обида улетучилась, хотя после сна на полу ныло все тело. И мочевой пузырь давило все сильнее. Зоэ обернулась. Белая дверь комнаты, ну да, сложно заметить за неудачно, поперек как-то, поставленным книжным шкафом. Комната не изменилась, но теперь, после короткого сна, казалась привычной и не такой тоскливой. На секунду задержалась в дверях. Ведь это не считается, да? Если она выйдет одна, до того, как они... может, еще что-то получится потом, но не с полным мочевым пузырем, это точно. Что может получиться — только уписаться... Нет, если выйдет одна — катастрофы не будет.

Зоэ оказалась в светлом коридоре со множеством ниш и дверей, рядом с которыми были закреплены одинаковые таблички с именами художников, номерами и названиями экспонатов. На пластмассовых подставках лежали открытки с выгодными фотографиями тех же экспонатов и дополнительной информацией, например короткими неловкими объяснениями намерений художника. Эти открытки можно было бесплатно брать на память, ведь фотографировать экспонаты собственными камерами и телефонами запрещено. Такие вещи всегда собираешь как ценные, и потом они забивают дома ящики стола.

По коридору в одном и другом направлении медленно шли люди и исчезали в комнатах и нишах с экспонатами. Замечала: много людей более чем среднего возраста — назвать их пожилыми сложно, столь элегантно одеты седые женщины — и жемчуг, и шарфики, и сумочки, и юбки — все на месте и вписывается в стиль, как и расслабленное заинтересованное выражение лица, с которым что-то сообщают своим спутникам или спутницам. Женщин вообще больше, чем мужчин, даже и более молодых женщин, но и мужчины все отлично одеты, все неординарные. Быстро нашла таблички с черными силуэтами: женщина в расклешенном платье и мужчина в цилиндре, с тростью. В туалете, несмотря на давление внизу живота, на секунду застыла у зеркала, упершись руками в белейшую раковину: мятой оказалась не только футболка, но и левая часть лица после сна, какой контраст с шарфиками и галстуками! Как стыдно. Здесь парил едва уловимый ботанический аромат, все было белым и матово блестящим, только двери в кабинки — красными, так что игра в прятки для мочеиспускания показалась вдруг связанной не столько с табуированной потребностью тела и запахом его выделений, сколько с осуществлением некоего тайного водного ритуала. Который, судя по звуку, исполнялся и в соседней кабинке. На выходе Зоэ столкнулась с женщиной лет пятидесяти, коротко подстриженной. Обменялись мимолетными улыбками, пока мыли руки.

Ясно, что футболка помята именно теперь, после экспоната, но с какой стати она вообще так оделась, кто так одевается, направляясь в музей, в галереи, на экспозиции? В ее шкафу ведь колышутся на плечиках и шелковые платья, и полупрозрачные блузки, и струящиеся по телу брюки, в футлярах неподвижен жемчуг, и немного золота наберется. В картонных коробках прохладные от безделья туфли на каблуках. Пусть туфли — это необязательно, во времена демократии можно носить красивые вещи с удобной обувью, но откуда вообще эта футболка, если есть бледно-голубая блузка

и подходящая по цвету юбка — немного темнее? Зоэ шла среди дверей, ведущих к закрытым объектам искусства, и приглядывалась, чтобы не пропустить ту комнату, где оставила Андриса.

Когда она собиралась на выставку, у нее было плохое настроение, потому что Андрис не хотел с ней идти после работы, а в другой день у них не получалось. Должны были встретиться у входа, и она заранее понимала, что он не успеет к назначенному времени, что ей придется стоять на ветру, ждать, смотреть на часы, смотреть на телефон, посылать сообщения, мерзнуть под влажным ветром и не заходить в холл, не столько боясь, что он ее внутри не найдет, сколько от неспособности уйти с назначенного места встречи. Как прикованная. И колготки (еще скажите чулки!), юбки, все эти нелепые украшения женщин, да вообще что угодно стильное, обращающее на себя внимание — невыполнимо, только джинсы и футболка, единственная возможная одежда в этом мире, в этих условиях.

«ЭКСПОНАТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» — светило над «их» комнатой. Номер двадцать два, имя художника Леонид Кюн. «Полсекунды до взрыва» — название, скажем честно, так себе. На миг она испугалась, что никогда больше не увидит Андриса, даже подумала, что взрыв произошел в ее отсутствие. Но тут же расслабилась, усмехнулась и толкнула дверь. Как раз из-за них и недоступен. Интересно, они единственные, кто всерьез восприняли инструкции? Логичнее было бы назвать это произведение «Make love, not war», хотя и это банально. Андрис прав: усталое стремление к оригинальности в наше время само по себе тоже банально, так что его не спасут экзотические имена артистов — начинают болеть веки, и хочется их прикрыть... Или боль в веках — эффект, на который рассчитывал художник?

Прикрыла за собой дверь. Глаза с трудом привыкали к полумраку, стекло окна поблескивало из-за оборванной шторы. Андрис растерянно стоял над полуопрокинутым диваном, при этом почти спал, покачивался, как лунатик. Пробормотал: «Он раскладывается». Разумеется, внутри складного дивана они нашли подушки, одеяла и постель, причем постель оказалась хрустящей, белоснежной. От нее пахло чистотой, стиральным порошком. Но какой-то древней чистотой: так пахла постель в детстве, когда были еще другие порошки, и так хрустела, когда был крахмал, а не ополаскиватель... Зоэ хотелось к стеночке, она переползла через Андриса. Вместо стены здесь были книги, уперлась носом в корешки. Под одеялом тепло, можно раздеться. Но Андрис все равно уже крепко спал.

Засыпая, она снова думала о начале их отношений. Тогда было странно, будто она находилась в каком-то хаотичном мире, болталась в море среди обломков и мусора после крушения и будто... Нет, нельзя это объяснять переездом и болезнями мамы, как нельзя представлять человека островом, но это было спасение, ясность, твердая почва, и когда они оказались вместе, словно все стало на свои места, как в пазле, жизнь снова потекла в одном направлении, а не разбегалась ручейками во все стороны, но лишь до расставания, до первого расставания... командировок, поездок к родным... Хотя на самом ли деле до их объединения мир был так безнадежен, был ли хаос, было ли крушение или мерещится теперь, только в зеркальце заднего вида?

Все это могло быть только в совсем *другой комнате*, понимала сквозь сон.

Другая комната есть где-то на этой выставке, то ли они уже были в ней, то ли еще зайдут — нет, все-таки уже побывали... прошла сразу внутрь, стремительно, не посмотрела на название, а там должна была быть мамина фамилия на месте имени автора. Пространство, увешанное вуалями, цветными пластмассовыми снежинками, прозрачными сосульками, все это немного звенит. Много дверей, и все двери нараспашку — мама не допустила бы. У входа на территорию экспоната сидела на стуле сотрудница

в лиловом костюме, с темной кожей, прямыми густыми волосами, полная. Все смуглые служительницы в этом музее выглядят похожими, словно родственницы. Зоэ спросила сотрудницу, куда делась мама.

Мама Зоэ, Лариса, была принцессой. Родилась Зоэ в маленьком невзрачном городке, через который проходили рельсы к республиканской столице. Мама могла быть принцессой польских кровей, или прямой наследницей царя Соломона, или, может быть, каких-то сказочных украинских и белорусских королей. Бабушка Зоэ совсем не была принцессой: она умела следить за тем, чтобы было чисто, вкусно, жирно, дети здоровы, окна вымыты. Она критиковала маму Зоэ, которая не хотела уметь все это. Принцесса. Темные блестящие волосы собраны в низкий хвост, пряди прикрывают уши, как у Жизели в столице, видны только длинные серьги. Темные глубокие глаза подведены, что-то в них спокойно-звериное, словно в глазах оленихи, и в то же время невероятно далекое от всего мира тел и запахов, как будто смотрят из какого-то иного, духовного пространства, прямо из неба. Шея длинная и белая... Некоторые рождаются принцессами. И здесь не нужно ни особенной одежды, ни драгоценностей, ни доказательств.

По этой причине у Зоэ не было отца. Любой был готов вступить в законный брак с Ларисой, таилась в ней какая-то сила, заставляющая мужчин думать и действовать иначе, не по заданным схемам радостного сближения и последующего — удачного или нет — бегства от загса, у них словно какая-то поэзия в голове включалась, школьное чудное мгновение мучило мозг невозможностью вспомнить. Но достойного в городке не находилось. Иногда принцесса пускалась в свои принцесские приключения с простолюдинами, но замуж — нет. Что говорила по этому поводу бабушка, не надо припоминать, нецензурная лексика строго запрещена в этой комнате, но ушки Ларисы были прикрыты, как у Хари в фильме Тарковского. Лариса была счастлива и так. Из-за того, что ее мама — принцесса, Зоэ получила свое странное имя. Лариса ведь не собиралась жить в «этой стране», неважно, имелся ли в виду СССР или республика. Поэтому совковые имена — в совочек, в мусорное ведрышко. «Не Зоя Космодемьянская, нет, — звонко смеялась мама (а зубки ровненькие, жемчуга), — ты Зоэ, жизнь моя». Ларисе жилось легко: сначала за нее все делала (ругалась, но делала) ее работающая мама. Когда та умерла (слезы, потоки слез), делали другие люди. С радостью.

Лариса структурировала реальность вокруг себя — не специально, одним своим присутствием. Окружающий мир становился иным. Она заходила в гости к подруге, у которой муж алкоголик, так что подруга регулярно бьется лицом то о дверь, то о шкаф, да и дети сопливо-вредные — не лучше. И что же: муж подруги с Ларисой на «вы», он варит девочкам кофе из стратегического запаса, делает как умеет, подает, и кофейник дрожит, подруга отпускает ехидные замечания (мимо закрытых прядями ушек), а муж ведет себя словно паж, дети же, смущенно взмахивая ресницами, демонстрируют рисунки и собирают урожай искреннего восхищения: «Как чудесно!»

Служила мама функционером в сфере культуры, какие-то ДК и ансамбли, что у нее за функция — Зоэ так и не смогла понять, как и того, на что они живут. Бюрократов от искусства все терпеть не могли, а вот Ларису любили и почитали, дарили цветы и шоколад просто так, не в качестве взятки — все равно она ничем не могла помочь. Она не замечала ничего: смертельных битв за место, за путевку, за жилплощадь, за ковер, за худую курицу, за батон хлеба.

И Чернобыль Лариса не заметила, считала, что все не так страшно, все пройдет. И расцветающие девяностые с незахороненными трупами, отобранными квартирами и детской проституцией проходили мимо, мимо... Не приставало, будто было содержанием некой серьезной книги — но все же лишь книги, не реальности. Реальность

вокруг нее складывалась светлая и спокойная. Они сами жили в однушке, самовольно разделенной на две комнаты тонкой стеночкой еще при жизни деда, сначала они с мамой жили в «гостиной», а бабушка — в маленькой спальне, потом бабушкина комната стала комнатой Зоэ.

Зоэ жилось тяжело. Она не была принцессой. Она рано научилась готовить себе жареный лук, если повезет, с бумажной колбасой, яичницу, если будут яйца, в двенадцать лет — борщ на подсолнечном масле, а если вдруг громадная удача — на косточке. Ведь мама-принцесса питалась салатиками, кефирчиком, и после бабушкиной смерти стало голодно. Сама Лариса одевалась не как-то особенно: шила сама из «Бурды», любила длинные платья, все в пределах разумного, но ей все время попадались особенные вещи для дочери («выкидывали»): безумно модные платья, в городке вызывавшие двусмысленные ухмылки. Над Зоэ смеялись... Ее пытались лапать и щупать, как никогда не дотронулись бы до ее мамы, в то же время никто, никто из мальчиков не выказывал ей поклонения... Никто даже не предлагал ей встречаться. Только залезть под свитер. Ее тошнило от этого.

Зоэ всем была обязана маме: образованием, манерами, вкусом, даже в некотором смысле мужем — мама подталкивала, как бы случайно заставляла идти туда, где потом встретились с Андрисом, хотя это произошло уже в другом месте, где все было утрачено. Поэтому Зоэ теперь хотелось убрать из шкафа то, что шло от маминых мыслей. Все эти голубые прозрачные блузки. Но они оставались в шкафу. Именно мама научила ее читать — не по буквам, как в школе, а по чувствам, научила ходить в музеи, правильно есть в ресторане, одеваться, относиться к людям и себе. (Только палочками научилась есть сама и маму учила, но у той не получалось.) Мама ее родила, в конце концов. Без отца, без вмешательства извне — клон принцессы...

Зоэ было тринадцать, когда они с мамой переехали в Германию.

И тут что-то произошло.

Лариса, хотя была еще довольно молодой женщиной, почему-то не смогла толком освоить язык. Она по-прежнему вела себя как принцесса: наняла для Зоэ целый штат дорогих репетиторов на социальное пособие. На нее смотрели с иронией. Что-то случилось с волосами. Этот жуткий небрежный хвост с висящими по бокам прядями. Они поредели, что ли, да и седина пошла, а Лариса не красилась. И зубы испортились, и запломбировали их неудачно, некрасиво. Мама завяла.

Только у себя дома Лариса оставалась принцессой, принцессой в башне — так казалось Зоэ, когда она, уже переселившаяся в студенческий коливинг, навещала мать — пока жила с ней, не замечала. Вся квартира была в прозрачных подвесках, ширмах, платках, ладно бы из «Икеи» — нет, с блошиных рынков. В первый момент это пространство, пропахшее ароматическими палочками, завешанное насыщенными цветов гардинами, зеленоватое, оранжеватое, золотистое, казалось дворцом, а мама — запертой красавицей, и только когда глаза привыкали к полумраку, очевидной становилась дешевая пластмасса. Теперь Лариса даже на пособие и свои мелкие подработки уборщицей могла бы спокойно приобрести все, чего была достойна: туфли на каблуках, платья. Ведь если иметь терпение и дожидаться скидки, можно за копейки купить дизайнерские вещи. Могла бы поехать в Париж и Венецию, чтобы отражаться в зеркалах и стучать каблукками по паркетам дворцов, в которых никому и в голову не придет кошмар советских музейных тапочек. Ведь все так делали, вся эмигрантская тусовка — за копейки, все возможно за копейки. Но она сидела дома. Мама, ты сегодня выходила? А на этой неделе вообще выходила? Мама, плюс семнадцать на улице, весна! Мама, такая осень, солнце. Пойдем? Мама, ты выходила в этом месяце? Да, на работу. Раз в неделю.

Одно время у мамы был мужчина. После того как Зоэ с успехом окончила гимназию (репетиторы первых лет не прошли даром, да и сама не глупа), когда началась учеба в университете, сбежала-съехала, мама как-то растерянно, по чужому сценарию («теперь можно пожить для себя»), связалась с Бернардом. Он не обращал внимания на цветные стеклышки в ее доме, был старше на десяток лет, и, с его точки зрения, все сложилось удачно: сравнительно молодая, стройная, растрепанный хвост и ранние морщины не в счет, зато ноги. Как они общались — для Зоэ так и осталось тайной. Ее надежды на то, что мама благодаря отношениям продвинется в языке, не оправдались. Похоже, Ларису и не тянуло говорить с Бернардом, вернее, она говорила свое, он — свое, и так они продержались целых два года. Когда Бернад после скандала (никто ничего не понял) ушел, кажется, мама и не заметила, или к ней даже вернулось немного изначальной силы принцессы. Плакала она не чаще и не реже, чем раньше, и если Зоэ все правильно поняла, именно слезы, причину которых понять было невозможно, достали Бернарда.

Окончательно Ларису добила встреча с афганской принцессой. На очередных благотворительных языковых курсах Лариса познакомилась с афганкой и при каждой встрече рассказывала Зоэ об этой женщине. Упиралась локтями в сиреневую клеенку на кухне и говорила, и почему-то в это время особенно бросались в глаза нехорошие зубы. Без имени, потому что имени афганки не смогла запомнить — как не могла запоминать немецкие слова.

Первый раз афганка, статная и высокая, пришла в шелковом платке цвета бледной розы. В группе не было мужчин, и афганка освободила темные, густые волосы — жесты, которыми она разматывала и потом наматывала платок, были полны танцующей грации. Она говорила хорошо, хотя медленно, с глубоким акцентом, возвращающим языку то, чего ему не хватало веками. Ее медлительность была королевской — каждый слушал, сколько нужно, не шевелился. Лариса понимала ее — у афганки словарный запас был так себе. «Если я покупаю что-то новое, например блузку, я обязательно должна что-то выбросить. Не люблю, когда шкаф набит». У Ларисы шкаф был набит — попытками вернуть былое. Афганка была замужем за афганцем, имела троих детей. Когда она узнала о родине Ларисы, вдруг сказала, что это прекрасная страна с сердечными, замечательными людьми, страна, которую она никогда не забудет. Там родилась ее младшая дочь. Бегство из Афганистана в Германию было долгим, дорога извилистой. Так добры и ласковы были врачи и медсестры в роддоме.

С недоумением Лариса вспоминала орущую врачу: «Та рожай уже, сколько можно, порвешься мне сейчас. Что, резать тебя?» Некоторые слова внутренняя цензура вычистила. И как зашивали, и медсестра потом говорила: «Ну шо, понашили тебе, крестики-нолики, блин». Воспоминания, которых раньше не было и быть не могло.

Афганка говорила, что необходим тональный крем, если выходишь на улицу — иначе лицо сгорит на солнце — надо же, как у них там! Значит, не носила паранджи... На следующий раз мама пересказывала, что в Афганистане прятался бен-Ладен, а когда ее афганку переспрашивали: так это была правда? — та отвечала, что американцы говорили, значит, наверно, скрывался. По просьбе Зоэ мама понаблюдала: об американцах афганка говорила со сдержанной симпатией, о талибах не говорила. Какой у нее статус, как ей удалось здесь обосноваться с семьей — никто не знал. Однажды спросили, кем работает ее муж — ах, он таким не интересуется... Какая аристократическая прелесть в ответе, унижительные процедуры оформления социального пособия к афганской принцессе не липли. Афганка была принцессой истинной, из сказок «Тысяча и одной ночи».

...Когда Зоэ спросила сотрудницу галереи, сидящую возле маминной комнаты, куда делась мама, та только пожала плечами. Ну что — делала, делала здесь всякие дела и умерла, хлопнула дверью, здесь и так ходят все туда-сюда, хлопают дверьми, настоящий проходной двор, одни приходят, другие уходят, значит, какие-то там теперь дела, за дверью. Да откуда я знаю? Я же говорю, ходит, кто хочет, никакого контроля, поди проследи.

Эта сотрудница не была принцессой.

...Лариса жила в мире фантазий, за что Зоэ злилась на нее. Но на самом деле в мире фантазий живут все: министры, продавцы в «Макдональдсе», модели с тремя подтяжками, националисты и коммунисты. Разница лишь в том, что фантазии Ларисы были сказочны, а фантазии большинства уродливы. Единственная реальность, за которую мы можем ухватиться, — это твердая поверхность нашей планеты, больше нет ничего. Даже растения — фантазии, их собственные фантазии, тянущиеся к небу. Разве зарождение жизни из водички и пузырьков может быть не фантазией? Германия разрушила маминны фантазии, но породила фантазии Зоэ.

Много лет назад, когда Зоэ приходила к маме, та жаловалась — легко, аристократически — на боли, на слабость. О, эти августейшие капризы, только чтобы привлечь внимание! Сходи к врачу — я была, что говорит — ничего, что они понимают. Ну конечно. Лариса потеряла сознание, упала на улице, возвращаясь от врача, — куда она еще ходила? Прохожие вызвали «скорую», Зоэ принесла в больницу букет белых роз. Мама уткнулась в раскрывшиеся бутоны лицом, худым, морщинистым лицом, на котором выделялись огромные печальные глаза изгнанной принцессы, и, вдохнув аромат, слабо улыбнулась. Я здесь никого не понимаю. Мама, тут две русскоязычные медсестры. Их я тоже не понимаю. Стены светлые, бежевые, бежевые шторы между кроватями. Капельницы.

Как так может быть, спрашивала Зоэ главврача, терапевт говорил, что все в порядке, мама всегда вовремя ходила к терапевту... Главврач должен был идти к следующим пациентам.

Двери хлопают, туда-сюда, ну, вышла, может, опять зайдет, я откуда знаю, бормотала сотрудница, глотая слова.

...Зоэ проснулась одна на диване. Свет дня, в обход тяжелых штор отыскивая щели, проникал в комнату. Сначала сквозь сон слышала, как Андрис чистит зубы в ванной, звук электрической щетки, поэтому не испугалась. Да комната и не казалась теперь страшной. Постель не плоха, уже приобрела запах, похожий на запах постели дома — запах их тел. Беспорядок, конечно, но, нужно признать, когда на работе завал и нет сил что-то делать, дома не многим лучше, пока не придет Клавдия. Пусть банки из-под шпрот не стоят на письменном столе... но от йогурта — вполне... Поднялась, на цыпочках прошла к столу, взяла эту проклятую банку, пока Андрис не решил, что это его завтрак, и отнесла к ведру, которое заметила недалеко от входа. Выкинула и только потом увидела, что в ведре была вода. Жестянка медленно пошла на дно, жир остался на потревоженной поверхности воды и поплыл причудливым перламутровым завитком. Рыба поплыла. Стало немного жаль, ведь этой водой можно было умыться. Но в туалетной комнате будет удобнее.

На книжной полке, расположенной за диваном, сбоку было прибито несколько крючков. На одном висело пончо — голубое с бледными узорами. Просторное, объемное, но элегантное. Зоэ перелезла через постель, стащила с крючка пончо. Одевшись, накинула его сверху. Ткань пахла сухими травами, видимо, пончо хранили с лаван-

дой, ромашкой, полынью — чем еще моль прогоняют. Расческу обнаружила на стуле, под листом с распечаткой неких правил — читать не стала. Зеркала здесь не было, но Зоэ решила, что должна выглядеть гораздо лучше, чем когда ходила в туалет. Выпалась, а пончо скрывает все: мятую футболку, грудь и живот. Именно такая вещь, какие она любит, хотя и не принадлежит ей. У нее есть два подобных пончо, серое и лиловое, и еще одна синяя накидка, но тоньше. Плащ-палатка, называет их мысленно, была в школе (еще там) какая-то книга про войну с немцами, и там были плащ-палатки. Защита от всего.

Зоэ вышла в коридор музея, сразу погасло объявление о недоступности экспоната. Сотрудница в узкой лиловой юбке и прилегающей к телу безрукавке, с безукоризненным макияжем и безупречным хвостом из длинных темных волос кивнула и улыбнулась, подошла к только что закрытой Зоэ двери и открыла ее снова. Чтобы любой желающий мог войти. Постель не убирали — экспонат динамичный, нестатичный. Меняется. Девушка была на каблучках, моложе ее и выше. С маникюром. Проскользнуло неприятное чувство от взгляда, явно фиксирующего все ее несовершенство — то, что под пончо.

Зоэ шла среди медленно бредущих женщин и мужчин. Для виду останавливалась у некоторых экспонатов, но не смотрела. Неприятный — потом все-таки приятный шум. Это дети шли по коридору. Группа маленьких детей с девушкой-музейным педагогом во главе. Дети передвигались неровно, как взрослые, но толкали друг друга, хихикая, падая и поднимаясь. Нелегкий труд музейного педагога — приобщать малышей к современному искусству, но надо же готовить смену пожилым посетительницам.

Тут Зоэ заметила одну девочку. На девочке были тюлевая юбка и футболка с блестками, на колготках не было морщин. Небрежный хвост, пряди, спустившиеся на ушки, видны только жемчужные капельки сережек. И огромные глаза, и черные длинные-длинные ресницы, выделяющиеся даже на фоне темной кожи. Сначала подумала, что родители — африканцы, но нет, не выравнивали же они волосы ребенку. Индия, Пакистан? О нет, это — немецкая принцесса. Спокойным взглядом смотрела девочка на педагога. Та с хитрой улыбкой объясняла, что художник любил играть в детстве в куклы — как некоторые из них, и ведь неважно, мальчик ты или девочка — любой может играть в куклы. Убедительно, подумала Зоэ, переведя взгляд с девочки на изящную композицию из голых резиновых кукол в натуральный размер с недвусмысленно округленными ртами. Дети уже потянулись дальше за педагогом. Можно сказать, что куклы поют. Хор. Инсталляция называется «Хор».

Проводила взглядом ровную спинку красивой девочки. Как говорила сотрудница — та, тоже темная, на полных бедрах которой лиловая юбка едва не лопалась, а лиловая безрукавка вся шла поперечными складками: двери хлопают, туда-сюда ходят. Уходят. Но и приходят. Так как-то. Принцессы...

Вдруг до Зоэ дошло: они все же покинули комнату, оба. И уже не вернутся. Не смогли... не справились. Теперь... Начало было незаметно, но постепенно, медленно накачивалась паника, в какой-то момент ставшая неотвратимой. Мир разваливался. Будет взрыв. Катастрофа. Война. Она не знала, куда дальше идти в этом музее, на этой выставке и что делать. Ей хотелось, чтобы с нее стащили украденное пончо и увидели, что под ним — нечто не соответствующее этому зданию, этой институции, этим...

Андрис легко тронул ее плечо. «Я тебя уже давно жду здесь». Он выглядел хорошо, его вещи совершенно не помялись и не испачкались, он для работы всегда выбирал одежду, не теряющую вида при первом неудобстве. Катастрофа наверное будет, но где-то далеко... они и не узнают... чтобы узнать, нужно смотреть все выпуски новостей подряд, не пропуская ни одного, а на это нет времени. Рядом с Андрисом и она выглядела лучше. Пара, приличные люди среди других приличных людей — ведь лишь

приличные люди посещают экспозиции, галереи, музеи. Другие сюда не ходят — разве что в качестве художников.

Говорили тихо, как положено в таких местах. Андрис предложил сразу домой. Их ждала на парковке машина с подогревом сидений, их ждал теплый дом, прибранный — только вчера была Клавдия (ничем не напоминающая маму, ничем, но когда жизнь вынудила нанять уборщицу — оба работают много, бесконечно, здоровье иногда подводит, нужен отдых хоть иногда — Зоэ было неприятно, словно унижала родного человека, и тихое короткое эхо плохого чувства наступало порой и теперь). Ждал ужин, который легко подогреть. Конечно, ей хотелось домой! После всего, после этих мучений хотелось, как минимум, принять душ... Но шептала совсем другое: еще не видели Ротонду, о которой столько писали, из-за Ротонды и приехали сюда, к тому же за билеты платили, да и когда теперь выберутся... Ротонда, Ротонда. Невозможно так просто уйти. Что Андрис мог возразить на это?

Но тут она отвлеклась, увидела надпись «For girls only» и подошла к экспонату. «Сюда можно только женщинам», — сдержанно объяснила смотрительница. Зоэ сначала растерялась, потом полезла в сумочку за портмоне, где лежало удостоверение личности.

— Но это же прямая дискриминация! — возмутился из-за ее спины Андрис, однако флегматичную смотрительницу это мало впечатлило.

— Художница так решила, — объяснила она, — мы ничего не можем сделать против решения автора.

— Но это же... — снова начал было Андрис...

— Я перескажу тебе, — пробормотала Зоэ. Ей не терпелось попасть туда, куда решено не всем. В конце концов, столько было мест, куда не пускали женщин веками, может же быть место, куда теперь не пускают мужчин, к тому же это не жизнь, а искусство. В жизни никто их не дискриминирует, а искусство — фикция. Она посмотрела на свой аусвайс и впервые обнаружила, что на нем нет графы «пол». Есть графа для псевдонима, есть цвет глаз и рост, но пола нет. Растерялась. На карточке медицинской страховки тоже не было, на банковской — тем более.

— Пометки в документах все равно не годятся, — сказала смотрительница. — А вдруг вы только внешне, по фенотипу женщина, а генетически — мужчина... И такое случается, почитайте по теме!

Из запретной комнаты вышла медсестра в белом халатике и маске, взяла кровь из пальца, унесла и вернулась уже через пять минут. Хотя Зоэ была уверена, что за пять минут хромосомы не проверишь, ее впустили (возможно, анализ — часть перформанса). Бросив последний взгляд на Андриса, заметила, что выглядит он не столько обиженным, сколько встревоженным. Мало ли что могло приключиться с ней на этой выставке. Эхо паники шевельнулось в ней, но любопытство, ожидание нового оказалось сильнее. Она вошла. Теплый свет падал на гобелены. Ее ждало платье. Такое простое и в то же время прекрасное, самое прекрасное платье, которое она когда-либо видела. Длинное, парчовое, коричневое с тускло-золотым. Она надела его, вдыхая тяжелый древний запах, потому что дочь принцессы не может быть не принцессой — династический закон. Покрыла волосы платком, расшитым жемчугом. Медленно и задумчиво пошла по коридору в сладком мерцающем свете, и больше ничего не было: просто шла, шлейф тянулся следом, издали доносилась музыка, такая слабая, что едва расслышишь. Не смотрела на гобелены по сторонам.

Шла и шла, шла и шла, и почти заснула, и почти прожила целую жизнь принцессы. По сторонам проплывали лампы с перекошенными абажурами, глухо-зелеными, глухо-лиловыми, лампы на журнальных столиках, и люди кружились и танцевали, голова их читала стихи, становясь то громче, то тише, но люди замечали ее и приветствовали поклонами и реверансами, в своих танцах, в своих песнях, в своих дремучих

лесам из колонн, из-за которых выглядывали олени и лисы с человеческими глазами. На журнальных столиках, под лампами, лежали книги с гравюрами, «Дама с единорогом» и другие, Зоэ хотела бы опуститься на колени и почитать всех этих Персевалей, Зеленых Рыцарей, но шла, так было положено, принцессы делают то, что положено. Кто-то двигался ей навстречу — старшая женщина в платье, она протянула руку...

Уперлась в дверь. Андريس встретил ее за дверью, где нужно было снова снять тяжелое платье, надетое прямо на джинсы и футболку — он держал ее сумку, ее пончо было перекинуто через его локоть. Когда Зоэ пересказала Андрису содержание экспоната, он ответил, что ему самому это, конечно, совершенно неинтересно, но все равно возмутительно, мало ли мужчин, которым хочется побыть принцессой, может быть, трансгендеры, пол — категория эстетическая, а не генетическая и просто так запрещать людям вход — это скандал.

«Нельзя», — коротко сказала Зоэ.

* * *

Такого типа историями потчевала меня Зоэ, смешивая личные исповеди и отчеты о посещении музеев, театров, выставок, фестивалей, биеннале, триеннале, дальше как — четвериеннале, квитиеннале? А днем главное было доковылять до океана — в воде моя больная нога сразу становилась легче, не тянулась к земле. Когда я плыла, я вообще не чувствовала ее. Я заплывала подальше, но не до самых буйков. Других людей в воде рядом не было — большинство плескалось у берега, лишь изредка мимо проносился кто-нибудь энергично-спортивный — до далеких буйков и обратно. Здесь буйки на самом деле установили великодушно, на скольких пляжах приходилось разрываться между желанием заплыть и нежеланием подавать дурной пример детям. Спортсмены с их правильным стилем воспринимались как причудливые морские животные и не нарушали моего покоя. Я переворачивалась на спину и смотрела в синеву. Там висела маленькая белая дневная луна. Иногда крохотные полупрозрачные облака. На солнце смотреть невозможно, но его лучи везде. Чайки здесь летали редко, но один раз я увидела группу из трех попугаев — они, зеленые, куда-то очень торопились, изо всех сил махали крыльями. Лежа на воде, я будто отделялась от своей жизни. Я думала, что эта вода — до самой Америки, пыталась себе представить ее бесконечность, то, как она обволакивает Землю, весь шар, летящий вокруг Солнца, летящего со всеми планетами вокруг центра галактики, летящей вокруг чего-то большего, и я лежу... Когда я выравнивалась, зависала в воде вертикально, мне казалось, что вот-вот из-под волны выскочит Джо, что мое лицо мокрое от его языка, а не от океана, и в то же время я была рада, что никому не нужно звонить, узнавать, как он себя чувствует, и никаких уколов — ни обезболивающего, ни совести.

Вечером потягивала свой безалкогольный коктейль, не отводя глаз от воды, и иногда мелькала мысль, что я должна испытывать муки от комплекса неполноценности: чем мне ответить Зоэ? Не упоминать же мюзикл «Король Лев», на который возили детей пару лет назад, когда они еще были по-настоящему детьми, на самом деле уже много лет назад. Или LEGOLAND. Но комплексы не просыпались, я просто давала ее голосу журчать сквозь меня, вокруг меня, не особо прислушиваясь, но и не фиксируя сознание на чем-то ином, так что я даже не знаю, понимала ли ее слова правильно.

Однажды нас сфотографировал красавец бармен. Хотя, наверное, не столько нас, сколько коктейли — он их старательно оформлял, а мы разрушали, и так повторялось раз за разом... и ему наконец захотелось сохранить — он сам предложил, увидев на столе мой телефон — я его держала под рукой, вдруг мои что-то напишут. Ну, согласилась. Зоэ поддержала даже с энтузиазмом, хотя потом не попросила переслать фото. Го-

лубой и зеленый коктейли вышли восхитительно, мы тоже ничего — обе почему-то более загорелые, молодые и радостные, чем на самом деле. Как закадычные подружки, решившие в отпуске оторваться по полной. Пять кадров.

Время от времени я вдруг, нарушая правила игры, снова пыталась рассказать и о своей заурядной жизни. Говоря Зоэ о себе как о ком-то другом.

Очень быстро все прошло. Только что была умной и красивой выпускницей истфака, после красного диплома и рекомендации для аспирантуры — свадьба, ей везет, у нее все — и успех, и любовь. Мир как пестрый калейдоскоп перспектив и возможностей, и эмиграция представляется новым узором в этом калейдоскопе... Вдвоем, против всех вдвоем. Первая беременность незапланированная, вторая — запланированная. Выучила язык, параллельно теряя английский, сдала на права. Жизнь вот-вот начнется. Мальчики такие разные.

Нильс, старший, всегда был тихоней. Переживала в садике, в школе. Не умел за себя постоять. Гордилась оценками... Теперь готовить ему приходится без мяса, хотя он вообще пытается стать веганом, но это уж простите... и fridays for future, полный комплект. Ночью лежала и боялась. Что вытеснят, забьют, задразнят. А за Марка приходилось оправдываться. Вызовы в школу. Ночью плакала. Успеваемость низкая. Но ничего, выровнялся. Старшего в детстве лупил, теперь в рот ему заглядывает. Но мясо пока ест — если уж о ртах. Нильс уедет осенью. Берлин, университет Гумбольдта. Уедет, и не нужно будет готовить в двух кастрюлях — с мясом и без мяса.

Сглотнула. Слезы сдавили и отпустили.

У Марка еще два года. Конечно, на такой блестящий аттестат, как у Нильса, рассчитывать не приходится, но все в норме, более или менее, и с тройками можно жить и поступить. Нильс много болел в раннем детстве, Марк тоже много, но как-то легче. Обнимала маленькое тело, горячее в лихорадке. Заваривала чай с малиной к ибупрофену. Включала настольную лампу и читала им вслух «Волшебник страны Оз». Про «Муми-Троллей» читала. Часами.

Ее ждало счастье — тогда, выпускницу университета... Вспоминается не белое свадебное, а голубое, простое — так шло к глазам. И сжавшие стопы голубые туфли. Как проходила между рядами столов к кафедре — получать диплом. Бывает так, что счастье выпито до дна, что делать тогда? Конечно, истфак — не лучшее образование для эмиграции, здесь его не слишком-то празднуют.

Не выдержала, вышла подрабатывать, когда Нильсу было четыре, а Марку, соответственно, два. Ерундовая работа, компьютер-бумажки... Муж всегда осторожно относился к попыткам выйти на работу. Как тебе будет лучше. Ни за, ни против. Будто в нем был какой-то страх. Или вина. Поддерживал любое решение и как бы отстранялся. Денег хватало. Потом пошел февральский грипп... «Танцуют все...» Марк две недели. Нильс — месяц, с осложнением на горло. Сама — дней десять. И муж тоже... В общей сложности полтора месяца...

В следующем году, конечно, сделали мальчикам прививки. Вообще делали от всего — не так, как эти астрологические-гомеопатические родители. От всего, но о гриппе той осенью как-то не подумали. Потом научились. Потом вышли из дома. Стены тюрьмы, из которой возможны были лишь прогулки к педиатру, расступились. Уже вишня цвела, что ли. Может, это и был какой-то момент... Хотя на самом деле — обычная болезнь, неприятная, с паникой «тридцать девять и шесть», но все же без сорока, как было у других — рассказывали потом родительницы из садика, и педиатр говорила, что она хорошая мать и все делает правильно, и поэтому... все будет хорошо. Здоровое питание. Спорт. Ну да, как мальчики из школы — Нильс на карате (отдали, чтобы мог за себя постоять, в тринадцать бросил), Марк на футбол (тоже уже бросил), перед самым отпуском — год доходил), главное, не перепутать, высокие потолки спор-

тивных залов и запах детского пота, форму и кимоно в стирку, запах мальчишеского пота с годами становится запахом пота мужского. И возили на русский — не пренебрегать же таким богатством, дармовым дополнительным языком... Но надо учить читать, надо писать... До этого успеть выгулять Джо... А вечером кто-то из мальчиков выгуляет.

Однако Зоэ приходила ко мне, чтобы говорить, а не чтобы слушать. Она пропускала время моих слов, словно его не было, чтобы начать говорить самой. Это был ее рассказ, не мой; а слушать была моя задача. Странно, но в таком раскладе я чувствовала глубокую справедливость, хотя объяснить ее не смогла бы. Она продолжала.

* * *

...Им повезло, что выбрали будний день, да и вообще повезло — когда вошли в Ротонду — в круглый зал. Почти никого не было, только одна пара как раз покидала помещение. Зал оказался просторным, напомнил Зоэ меньший по размеру в одном из берлинских музеев, где по кругу расставлены античные статуи, но потом подумала, что здесь не статуи, а живые люди — померещилось, будто они дышат. Однако приглядевшись внимательнее, решила, что все-таки не живые — фигуры были больше или меньше, чем обычные человеческие тела. Ненамного, совсем чуть-чуть — одни около двух метров, другие полтора, но выглядели не как слишком высокие или низкие взрослые мужчины и женщины — пропорции были совершенно привычными. Так что это должны были быть статуи — ведь и античные статуи почти всегда иного размера, чем человеческое тело.

Андрис и Зоэ взялись за руки, они терялись в пространстве зала. Сверху был купол, сначала подумала, что стеклянный, но неподвижность наводила на мысль, что он лишь изображает небо — позднее небо, еще без звезд, с несколькими полосами облаков и подсвеченным зашедшим уже солнцем следом самолета. Света от купола исходило меньше, чем нужно такому помещению, и теней оказывалось больше, чем ясности: были ли статуи, или это только показалось, когда входила, или вовсе не статуи? Темно. В центре зала успела заметить соединенный с куполом стеклянный столб, то ли с воздухом, то ли с водой, может, кто-то был внутри.

Зоэ и Андрис начали обходить Ротонду по окружности. Когда они достигли первой статуи, вокруг нее вспыхнули яркие прожекторы. В свете стоял мужчина — молодой, в растянутом свитере, покрытом катышками. Дышал заметно. Он посмотрел на Андриса и Зоэ обиженно, сел за стол и заговорил, так и смяк вертя в руках изящную чайную ложку. Иногда он поднимал от ложки глаза, пару раз взгляды сталкивались — его и Зоэ, и ей становилось неприятно, неловко от этих живых, слегка навывкате светлых глаз под короткими бесцветными ресничками, будто чувствовала его запах — мужчины из тех, что ей не нравятся, и отводила, опускала веки.

«...Мне было лет восемь... нет, восемь с половиной, почти девять, когда меня выкрали впервые.

Инопланетяне выкрали. Конечно, мне было страшно, еще как. Еще чуток, и штаны бы пришлось стирать. На самом деле — ну не штаны, но трусы стирал потом сам, тайком от мамы и бабушки. Позже. Когда *они* меня вернули. Вечером. Зачем *они* это сделали? Зачем *они* делали это потом с регулярностью раз в полгода, разрушая мою личность и мою жизнь? Видите, что я теперь. Толстый холостяк без детей на грошовой ставке. Я думаю, *они* уже тогда поняли, что мне никак не стать космонавтом.

Ну подумайте — как я мог бы быть космонавтом? Сколиоз, астма, избыточный вес... Так и просится — близорукость, но близорукости у меня никогда не было.

У меня всегда было отличное зрение, несмотря на книги, в которые я зарывался до ушей все детство. И там, куда *они* меня приводили, я видел все, уверяю, я прекрасно видел все. Все.

Если бы я рос, как нынешнее поколение, я стал бы геймером, но в наше время не было ничего, кроме книг. Были какие-то там тетрисы, но не то, не то... И умоляю вас — эти все войны и миры я, конечно же, не читал, я читал войну миров, я читал фантастику, только фантастику, много фантастики, и я мечтал стать космонавтом. Как многие в моем поколении. Но если мы играли во дворе, меня оставляли в наземной службе, как самого жирного.

Нет, никогда меня не били, у нас как-то не та компания во дворе собралась, да и жирный — это не обидно... у всех клички, а это правда была. Меня растили мама и бабушка. Мама на работе, а бабушка пыталась закормить мою астму. В общем, всем было ясно, что космонавта из меня не выйдет. *Им*, видимо, тоже. И *они* меня похитили в первый раз. Чтобы я хоть что-то увидел в этом мире — что-то, кроме нашей чистой кухни с отрывным календарем и радио на подоконнике. Нашей чистой кухни с закрывающимися пол-окна кружевными занавесками и сеткой от комаров — на все окно.

Нет, я никогда не говорил с *ними*. *Они* никогда не показывались мне. Шел из школы один, зима, не поздно, но темно, вода с грязью замерзшая, а снега почти не было. Это первый раз когда. Поскользнулся — не сильно, не упал, голову только задрал. А там светящийся вращающийся шар и луч из шара... Вы наверняка про такое читали. А потом эти фиолетовые выступы... горы... скалы... Я не знаю. Отражение, как в зеркале, и в небе отражения, и по ним — потоки фиолетового... со звездами потом. Я смотрел под ноги и видел в фиолетовой луже свое отражение. Я был в скафандре (*они* надели поверх школьной формы) и шел по поверхности чужой планеты. И старался все, все запоминать. Это был мой первый полет. Потом повторялось с регулярностью раз в несколько месяцев. Но разве мог я кому-то рассказать, без того, чтобы попасть на обследование к психиатру? Я был толстый астматик, но не идиот. Раньше не мог вообще говорить об этом — не из-за *них*, ой, никаких там промываний мозгов и стираний памяти они не делают. Просто психологически трудно, уже представляешь, как смеяться будут. А теперь я смог наконец говорить... потому что мне помогли. Тот помог — он здесь дальше... или она. Увидите еще. И я счастлив. Да, теперь я счастлив, и мне все равно, верите вы мне или нет. Я надеюсь, что меня снова заберут куда-то. Иногда я начинаю надеяться, что рано или поздно *они* заберут меня насовсем.

В другой раз было так: в специальной скользящей обуви я мог передвигаться по полужидкой поверхности одной планеты, далекой от своего солнца... Она была как ртуть, горизонт поднимался бортиком ужасно далеко, и там над ним висела небольшая зеленоватая звезда, но ее лучи дотягивались до меня. И из жидкости там и тут торчали небольшие скалы, острые, они были правильной треугольной формы, из пористого, серого материала. Из некоторых отверстий в скалах капало, как мед из сот, но только вниз. Верхушки оставались сухими. Совсем невысокие скалы были, самые большие — с дерево размером. Я бродил туда-сюда и смотрел, как из жидкой поверхности выпрыгивают полужидкие существа, вскрикивают — у них не было ртов, но их тела издавали звуки, — и плюхаются обратно, сливаясь со средой. Их крики были похожи на птички, редкие вскрики довольных птиц, как весной. И еще был какой-то треск, он исходил от скал... Как электричество.

О, это было только начало. Как бы хотел я пересказать все, каждый свой полет, но я не нахожу слов: нет названий у нас ни для существования, ни для сущностей, с которыми я контактировал. Нет терминов для знаний, которые я ношу в себе, как бере-

менная с тысячько детей в животе. Может, от этого мое пузо? Ха, я толстый и совсем не стесняюсь.

Но я сейчас на диете. Ем салат, суп на воде. По мне незаметно, да? А вот в армии... Я бы вообще не выжил, если бы *они* не появлялись. *Они* меня вытаскивали из ада в рай. Это было как в джунглях: все звучит вокруг, мирные голоса, сплетения тонких рук над головой — на самом деле щупалец или ложноножек... Я пару раз пытался снять с себя скафандр. Но в нем не было никаких креплений, молний — ничего, он плотно сидел на мне: он как бы со всех сторон на меня ложился, когда надо, и исчезал, когда я возвращался. В армейские дни я точно знал, когда именно меня заберут. Знал, и все — когда дежурства. Тот, кто был со мной, — всегда вырубался. А как я вообще в армию загремел со своими диагнозами? А как: мама и бабушка — две перепуганные женщины, без связей, без денег, мама сдала сережки, но это не помогло. Моя астма оказалась успешно закормлена, по моему диагнозу не пошел кто-то другой. И я только и ждал, когда появится пульсирующий шар, когда вокруг меня сформируется скафандр... В те времена мне впервые удалось посмотреть вблизи на солнце. Я никогда не смогу его описать. Если вы думаете о море... или о свете... Но оно все булькает, льется. Нет, никогда не объяснишь.

С того момента, как меня впервые выкрали, моя жизнь превратилась в ожидание. Друзья постепенно отдалились от меня. В школе я был одиночкой. Сегодня сказали бы: аутичный спектр. Но это неправда, я просто боялся проговориться. Представляете, как мне тогда хотелось проговориться? Быть похищенным инопланетянами! В то время! Всякий раз мне казалось, что этого не произойдет больше. Да и было ли? Я тревожился, я метался. Я ел. Много ел. После армии мне было все равно, какие женщины приближаются ко мне, какие удаляются, все равно, что за работу я делаю. Каждое утро я просыпался раньше будильника с надеждой: сегодня? Или эти параллелепипеды искаженные сверху, снизу мимо пролетают... и вибрации от них... информация, большими потоками...

Надеюсь, вы не думаете, что я просто прогуливался там? Нет, я изучал, я систематизировал, я анализировал, я даже ставил опыты. Сколько всего я знаю! Скорее всего, я величайший ученый на Земле сейчас. Я вступал в контакт с существами, о которых здесь понятия не имеют. Я бы готовил статьи в специальные журналы, я бы все записал! Но о чем я мог писать, если не было подходящих слов, понятий, схем, паттернов, и на какие источники ссылаться? На *них*?

Так проходила жизнь. Но я многое забываю. Теперь *они* появляются реже. Понимаете: повсюду мобильные с камерами, вообще везде камеры, а им не хочется светиться. Не то чтобы *они* боялись, с чего бы *им* бояться нас, это абсурд. Скорее, вам следует представлять *их* застенчивыми. Да, застенчивость, тотальную интроверсию, тотальное нежелание показываться кому бы то ни было, общаться с кем бы то ни было. Кроме меня. Невзрачного толстого дядьки, живущего в двухкомнатной квартире с больной мамой и духом покойной бабушки, с неистребимым запахом все той же манной каши. Что поделаешь, если лишь во мне из всех миллиардов они признали истинного космонавта».

Свет погас, Андрис сильнее сжал руку Зоз, а она всматривалась в накрытую темной человеческую фигуру за столом, которая, кажется, продолжала вертеть ложку — может, в ожидании спасительного луча из Вселенной. Андрис потянул ее дальше, по окружности, и еще прежде, чем они достигли следующего экспоната, тот был ярко освещен.

Прямостоящий человек глядел на них в упор, но как только начал говорить, закрыл глаза. Стройная фигура, худощавая. Короткая седина. Родинка у уха. Приятный

голос. Почему-то от этого голоса Зоэ пришла в голову мысль о заложенных между страницами полевых цветах, которые находишь через десять лет. И что-то было такое в его морщинках. Говорил, не открывая глаз, казалось, говорит из некоего иного *сейчас*, в котором находится под веками.

«Бывают дни, когда я притворяюсь женщиной, бывают дни, когда я притворяюсь мужчиной. Бывали дни. Но не здесь же, не в этой степи. Здесь, шагая босиком по колючей сухой траве, в сторону застывшей в дымке горы, которая вроде и не приближается, я могу быть собой. Дышать здесь намного легче, чем в городе. Я человек, всего лишь человек, которому не хватает грамматики. Прилагательных, формы прошедшего времени, местоимений. По сиреневому небу летают утренние вороны, кричат, будто поддерживая мое решение уйти. Первое, что было сегодня в постели — смех, мой смех. Выбраться из тепла, выпить стакан воды, уйти, чтобы никогда не вернуться в тепло. Уж не голубика ли это в траве? Без опасений наклоняюсь и срываю ягоду. Понятия не имею, какой должна быть голубика на вкус или на цвет. Разве она не на болотах растет? Эта ягода горьковата, терпка, как моя тайна, которую приходилось хранить. От которой теперь можно избавиться, как и от страха брать в рот незнакомую пищу.

Моя социализация была катастрофой. Сначала меня воспитывали как девочку, но с тех пор, как вместо ожидаемых кровотечений на подбородке появились редкие волоски, стали воспитывать как мальчика. Между этим был переезд, обрыв связей, срыв. Появление сестры.

Гора кажется голубоватой. Мелкие цветы крошатся под моими ступнями. Я же всегда понимал, в чем отличие, но страдал не от него, не от своей неопределенности, а от определенности других. Часто надо мной витали мысли, и даже в эту последнюю ночь в мягкой постели, в единственном отеле этого города, у самой степи, в десяти сантиметрах над моей головой витали... хотя какое это уже имело значение... Мысли о том, что не с мной что-то не так, а с остальными, что человек задуман совершенным, законченным, полноценным, а половинчатость других — нарушение.

Пустая теория, попытка утешить себя. Между тем подтверждение моих бесплодных гипотез можно было найти в моей привлекательности. Мои впалые щеки и рыжевато-каштановые волосы. Некий зеленоватый даже отлив был в этой рыжине. Удлиненный овал лица, глаза цвета ореховой настойки, звездочки веснушек на бархатной коже, еще более нежной от мягкого рыжеватого пуха, иногда заметного, иногда нет — все это притягивало ровесников то одного, то другого пола. Признаюсь, нередко доводилось мне задерживаться у зеркала, разглядывать себя: лицо, где в рисунке челюсти можно было угадать мужское, а в ресницах — женское; поджарое, послушное, гибкое и неожиданно сильное тело, присыпанное веснушками. С подтянутыми гладкими бедрами, с едва заметными припухлостями груди, со слишком большим клитором либо слишком маленьким пенисом, с никуда не ведущим отверстием — все это прикрывалось моей ладонью и открывалось снова... Но нарциссизм мой не снимал стыда перед другими. Встречался ли я в роли нежного и тихого мужчины с доверчивыми девушками или, благодаря быстрым взмахам кисточек и щеточек, пудре и помаде став таинственной незнакомкой, с мужественными парнями, приходилось следить, чтобы любовники и любовницы принимали достаточно алкоголя, прежде чем я сниму одежду. Чтобы не замечали. И на самом деле никто не заметил, но мне было жаль своего чудесного тела, которое никто так и не рассмотрел, прелесть которого пропадала втуне, не замеченная, как и моя особенность.

Сейчас все это меня уже вовсе не печалит, сейчас радует собственная сноровка, сила, позволяющая шаг за шагом приближаться к горе, которая остается далекой. Хотя

еще вчера вечером, в машине, в пыли, по дороге в город, на отравленных пробками дорогах... были, были эти проглоченные слезы. Но что до них теперь?

На восточном краю неба, в прозрачных облаках я вижу легкую радугу. Не настоящая радуга — без дождя, гало, полукруглое отражение солнца. „Здесь я могу быть собой“, — шепчу себе, усаживаясь на расстеленную куртку, чтобы сделать привал. Желудок колет от голода. Скрестив ноги, поворачиваю истоптанную ступню вверх. Грязная стопа, просто черная!

Несколько лет одним из моих главных занятий было преподавание йоги. У меня всегда было чувство группы и знание, нужно ли представиться мужчиной или женщиной. Моего имени на санскрите никто не понимал, да и не было там никакого санскрита в помине, никто не давал его мне, но никто и не запрещал взять. Поправляя асаны учеников, прикасаясь, ощущая при этом мужское или женское в себе, в них или отсутствие мужского или женского, спокойную нейтральность, желание либо нежелание отношений, мог, могла оставаться собой, но не так, как здесь. Здесь, под небом — сильнее. Становишься собой настолько, что исчезаешь. Остается лишь небо, бесконечная синь, какое счастье, и лишь гора, возвышающаяся на самом краю поля зрения, возвращает к реальности. Мне нужно продолжать путь. Мне на гору.

— Дай руку! — выкрикивает так пронзительно, что я сглатываю. Потом медленно подчиняюсь, протягиваю руку вперед, но в последний момент убираю. Прячу в кармане.

— Кто ты?

Стены дома на горе, в котором я нахожусь, цвета прогретого солнцем дерева, но пахнет скорее чем-то влажным, мхом. Человек, стоящий напротив меня, немолод, худ и подтянут. Я не могу на взгляд определить, мужчина это или женщина, и впервые ощущаю ту неуверенность, которую, вероятно, испытывали многие, стоя передо мной. На долю секунды мне даже хочется оказаться внизу, в городе, зайти в первое попавшееся кафе, сесть у окна, заказать американо, пить неторопливо, маленькими глотками. И пусть люди заходят и выходят, пусть проходят мимо окна, пусть официантка, не торопясь обслуживать, говорит с кем-нибудь по телефону. И может быть, к кофе заказать себе что-то сладкое, сладкое и воздушное одновременно, безе либо какое-нибудь пирожное с муссом.

Официантка будет, переходя на шепот и прищуривая глаза, говорить подруге и бросать на меня исподтишка горячие хитро-хищные взгляды, будто я не понимаю, что говорит она обо мне. И проходящие мимо окна будут задерживать на мне взгляд, тщетно пытаясь определить меня, а те, кто внутри кафе, будут сверлить взглядом затылок.

И я протягиваю руку человеку, хозяину дома на горе, оставляя прошлое внизу. Человек берет мою руку, и сразу в глазах становится красно. Как когда, опустив веки, поднимаешь лицо к солнцу. Желто-красно и точки. Точки вращаются, собираются в вихри. Сгущаются. Вот через вихри начинает сквозить темнота. Тоска наполняет мое сердце при виде этой темноты. Сначала только трещинки черного, но потом в черноту словно утекает все красное, и через некоторое время остается совсем мало цвета. Мне хочется ухватиться за цвет, хотя вначале он был связан с напряжением. Рука непроизвольно дергается вперед, но ее крепко держат. Когда последний блик красного гаснет, мне становится спокойно. Как если бы ничего этого не было. И я слышу ровный, светлый, не мужской и не женский голос: а теперь можем пить чай. Мы садимся, я не знаю, когда чай был заварен, но он горяч и свеж.

— Так что, ты желаешь у меня учиться? — спрашивает, и я осторожно киваю. — Ты на самом деле хочешь помогать другим? В тебе нет усталости, желания отомстить, обиды, ненависти, стремления обрести власть над остальными, непохожими на тебя?

Я мысленно повторяю все названное и наконец отрицательно качаю головой. Было и плохое. Но последние годы оказались хорошими. А чай утешил. Единственное, чего мне теперь хочется, — быть на своем месте. Учиться мне не хочется, но для того, чтобы обрести место, приходится учиться.

— Это хорошо. Кому-то надо жить на горе. Я часто болею. Может, умру скоро. Но неважно. Лучше поделись со мной своим первым воспоминанием.

Приходится ответить, что я начинаю помнить себя довольно поздно, почти что со школьных лет, и какое воспоминание на самом деле первое, сказать не могу. К тому же большая часть моих ранних воспоминаний окрашена печалью и страхом.

Покачивая головой, вдруг оказывается рядом со мной. Двумя руками, будто стараясь убрать волосы с моего лица, проводит по лбу. И сразу становится ясно. Картинка реконструирована иначе, и вижу я большей частью не с моей, а с их точки зрения. Только в некоторые моменты перспектива ломается, и я на самом деле вижу все так, как оно должно было выглядеть для меня тогда: расстилающуюся до неизведанных далей белую плоскость потолка и их огромные лица, склонившиеся надо мной, размытые до полупрозрачности...»

Тут глаза человека, который, говоря, то вытягивал, то опускал руку, открылись и посмотрели — то ли прямо на Зою и Андрису, будто огромные лица принадлежали им, то ли мимо них, разобраться сложно. Были ли глаза цвета ореховой настойки? Освещение не позволяло разглядеть, знаний о цвете настойки не хватало, речь продолжалась.

«За окном как раз трогалась машина, а женщина стояла у окна с ребенком на руках. Ребенок уже молчал, но дышал беспокойно после плача, вздрагивал, выражение маленького лица было безрадостным, обиженным. Лицо женщины оставалось неподвижным, словно крик застыл в горле. То ли испуг, то ли смирение. Щеки впалые, хотя женщина не худая. Плечи опущены, волосы, прямые, темные, с серебристой проседью, закручены сзади в узел. В глазах лихорадка многодневной бессонницы. Молодой матерью трудно назвать.

Мелита вздрогнула, сгорбленная спина еще сильнее округлилась, будто она желала спрятать ребенка в груди, когда в комнату вошел мужчина. В сорок все еще молодой отец, с мягкими, правильными чертами лица, приятный, светловолосый, тоже с легкой проседью. С таким же мягким, как лицо, голосом. Начал увещевать.

— Но ведь ребенка следует вынести на улицу. Тогда он не будет так кричать.

— Она, — поправила женщина.

— Она, конечно. Она нуждается в свежем воздухе.

— Конечно. Когда она проснется, я пойду постою с ней на балконе.

— И сколько ты постоишь? Полчаса? Ей нужно часами быть на воздухе, как всем детям. Ты же понимаешь.

— Но коляска на наш балкон не помещается!

— Ты понимаешь, о чем я. Нужно вывезти Риту на улицу. В коляске, на улицу, погулять. Если тебе не хочется, то ведь не проблема. Я могу...

Мелита отвернулась от окна и оказалась напротив мужа. Ее губы и веки оставались неподвижными, но лицо казалось то умоляющим, то гневным, два выражения сменяли друг друга с неуловимой для глаза частотой, накладывались друг на друга, как кадры прозрачной пленки.

— Там люди.

— Я думаю...

— Ты знаешь, какие там люди?

— Обычные люди.

— Да. Одни из них, еще не достигнув зрелости, уже забывают, для чего живут. Они от скуки бьют стекла на остановках и плюют на тротуар, они пьют пиво, они пьют виски, а бутылки бьют, и там все в осколках. Они бьют друг друга, они всегда ходят в капюшонах, смеются громко и режут друг друга, и если их случайно обидишь, они могут и тебя... И ты хочешь нашу Риту?..

— Ты преувеличиваешь. Ну да, бывают трудные подростки... Я сам не был святым. Но это только небольшая группа, какой-то процент, а большая часть людей — нормальные люди. К тому же существует полиция, полиция следит за тем, чтобы...

— Да. Они то открывают, то зажмуривают глаза, день — ночь. Они могут быть очень добрыми к тебе, если это подходит к их картинке. Картина мира. И мне кажется, что они глаза так и не открывают. Так и держат сжатыми веки всю жизнь. И если Рита к их картинке не подойдет... Да дело даже не в этом. Сегодня у них в моде взаимопомощь, может, они помогут занести коляску на ступеньки. Но что с того? В другой день у них в обычае ненависть, и они будут считать добродетельным расправиться... разорвать. Мало ли на каком основании — родинка, например. Цвет коляски... Да и твоя полиция! Да, сегодня она защищает, но завтра может хватать... Или наоборот. Что, не было? Скажешь, не было? Главное, самое страшное, они не замечают перехода из одного состояния в другое, у них есть белое, есть черное, и неважно, что какое: может, как раз сегодня у них считается белым убивать детей с родинкой возле уха, как у нашей Риты. Может, они считают, что таким способом очищают землю? И полицейские тоже будут на их стороне, таким будет закон...

— Родинку за волосами не будет видно, когда вырастет. И зачем ты все преувеличиваешь? Мы живем в мирном месте, в мирное время.

— Ты знаешь, сколько в наше время войн?

— Прекрати наконец! Будто не понимаешь, что там такие же люди, как и ты. Как и ты, они сильнее всего боятся за своих детей.

Ребенок проснулся от крика, уже сморщился, но еще не подал голос, словно завис в этом предревном состоянии. Но стал высвобождать ручки, и женщина удерживала, поддерживала его, готового выскользнуть, потому что ребенок все время двигался, и она больше не смотрела на мужчину, который тихо (казалось, все его существо состояло из деликатности) отошел, прошел мимо фотографии на стене, где эти молодые — почему нет, около сорока — мужчина и женщина с белоснежными улыбками и блестящими глазами, неуловимо похожие друг на друга, хотя она брюнетка, а он блондин, в снаряжении (красное и синее), на фоне горных вершин. Два года назад.

Мелита резко повернулась к окну, когда Алик снова подошел и протянул руки, чтобы взять Риту.

— Ты уже и мне не доверяешь?

Сквозь ровный голос покладистого человека прорезались звуки-ножи. Наводящие на мысль о судебном процессе. По улице шли из школы дети с ранцами. Ворона искала пищу. Парковалась машина. Слабый дождь начинал сеять мелкие капли. Мелита медленно протянула ребенка мужу, при этом слегка шурилась. Будто чтобы не видеть его. Внутренне сопротивление чередовалось с адской решимостью. Личико Риты расправилось. Ее глаза были широко открыты и внимательны. На руках у отца она снова закрыла их и, кажется, заснула.

К вечеру дождь прекращается.

Ночью лунный свет усердно оmyвает комнату. Детская кроватка-клетка пуста, мать не оставит Риту там. Девочка на родительской кровати. Родители дышат ровно. Рита просыпается. Она осторожно ползет вокруг матери, стараясь не зацепить тайные не-

видимые колокольчики. Ей мешает только памперс под зеленым трикотажным комбинезоном. Рита сползает на пол. Рита ползет к двери. Там у нее получается встать на ноги и поднять руки, чтобы всем весом потянуть ручку. Рита сползает по ступенькам, она ползет спиной, чтобы голова оставалась выше. Выползает из дома. И вот Рита ползет под открытым небом, большая луна смотрит на нее благосклонно, и редкие выжившие в лунном свете звезды кружатся над ее головой. Она ползет по асфальту, по его лужам и пятнам, происхождение которых не будем уточнять. Кусты шелестят листьями над ее головой и палочки на ее пути — прекрасные игрушки.

Мелита во сне вытянула руки и, не нащупав ребенка, тотчас проснулась. Она закричала, побежала к двери, увидев, что дверь открыта, хрипло выдохнула:

— Люди!

Алик, суточный, в майке и трусах, с измятым от подушки лицом, плелся за ней. Она развернулась, вцепилась в его плечи:

— Они были здесь! Они украли нашего ребенка! Они! Мы ничего не сможем доказать, мы...

— Подожди...

Он совершенно не соображал. Смутно понимал, что на этот раз его жена права, произошло нечто ужасное, но пока ничего не чувствовал. Он высвободился, проковылял в спальню и заглянул в детскую кроватку. Потом повернулся к их кровати, некоторое время стоял и тупо смотрел на замысловатые изгибы смятых одеял. Мелита подбежала и больно дернула его руку. Потом застонала. Потом она бегала и билась о стены, как птица о стекла, кусала свои пальцы и хрипела, а он смотрел на нее так же тупо, как до того на постель.

Рита тем временем — а прошло уже много времени — доползла до лужайки. Лужайка была недалеко от дома, но ползком — довольно медленный способ движения. Она сначала лежала на животе, удивленно глядя на ежа. Еж до нее сновал по полянке, выискивая недоеденный вчера тонкий гриб, но теперь, заметив представителя го-мо сапиенс, встревожился. Если бы представитель был больше и передвигался иначе, еж бы убрался в другую сторону. Но тут все странно. Еж просеменил и остановился напротив ребенка — на небольшом расстоянии. Рита, не обращая на него внимания, перевернулась на спинку. Она увидела огромное, светлое от луны небо с маленькими звездочками и оттопырила нижнюю губу. Немного повсхлипывала, однако не расплакалась. Видеть освещенные окна собственной квартиры, где метались темные тени, она не могла. Она задремала на какое-то время, дыша мягким воздухом, пронизанным частицами земли. Сова прилетела и села недалеко. Близился рассвет, небо бледнело. К восходу солнца Риту окружили животные — хищные и травоядные. Правильным кругом. Там были и рано поднявшиеся вороны, и пара крыс, и кот, и полевая мышь, и все тот же еж. Они оставались неподвижными вокруг нее какое-то время, но когда солнце встало, разбежались. Рита снова перевернулась и поползла домой.

Дверь парадного оставалась открытой. Путь по лестнице вверх оказался невероятно тяжел, но она молчала. Заплакала только, когда ее взяли на руки — там, в доме. Взяли и плакали. Взял папа. Плакали все.

Вопрос в другом: была ли Рита на самом деле девочкой, как настаивала ее мать и покорно соглашался отец? Был ли это мальчик? А что говорил врач? А кто его слушал? Как решили, так и будет. Но точно не мальчик».

Человек снова закрыл глаза, голос изменился, имитируя диалог.

— А как сейчас дела у ваших родителей?

— Мне трудно ответить. Конечно, они не то чтобы совсем здоровы. На ребенка, то есть на меня, решились не рано, так что сейчас уже не молоды. Но мы общаемся мало. У меня есть сестра. Женского пола. Младшая, совсем поздняя, от отчаяния. С ней мы тоже почти не общаемся. Она почти не играла роли в моем детстве, как ни странно. Мне было позволено оставаться в своей комнате и читать. Открывать окно нараспашку. Сначала пугались, но потом смирились, потому что днем выходить было сложно. А свежий воздух нужен. За окном были деревья. В книгах можно было себя представлять то героем, то героиней. То обоими одновременно. И почему-то часто пахло кровью. В какой-то момент все чаще стало получаться выходить по вечерам, в сумерках, а в подростковом возрасте мне наконец удалось научиться общаться с людьми в целом. Имитировать пол. И эти вечерние прогулки проходили уже не в одиночестве. Я думаю, что у родителей все не так плохо. Иначе сестра сообщила бы мне, правда? У нее есть мой телефон.

...Так мне было позволено жить в доме на горе и слушать. Обучение оказалось не слишком сложным, просто нужно было лежать и слушать... или сидеть, откинув спину на ствол рябины.

«...Археологи утверждают, что в иудаизме изначально было два божества, женщина и мужчина — пара, потом женское божество было вытеснено, изгнано и запрещено. Однако пара — тоже не решение, потому что если сознание народное стремится к политеизму, то сознание индивидуальное неизбежно тянется к монотеизму. Феномены в вечном поиске своих отражений...»

На дом с силой светило солнце, и сухое дерево пахло терпко, так что мне хотелось его облизать — здесь, прячась в тени. Одуванчики перед самыми зрочками: три — ярко-желтых и один — опушившийся. Как тело и дух эти одуванчики. Желтые — тело, опушившиеся — дух, то есть дух те, которые с парашютиками-семенами. Забавно, дух часто оказывается связан с размножением... Гусеница — тело, мотылек — дух... Мотылек не ест, его задача — любовь и размножение. Любовь — чистый дух. Для духа: драмы Шекспира, будто не въезжает никто в пошлые шутки. Но почему бы размножению не быть духом — ведь речь идет о передаче информации, рекомбинации и передаче, а что есть информация? Дух.

Мне говорилось (и голос был приятен, но не излишне сладок, голос пожилого человека был молод, ровен, «строен» можно было бы сказать, но у меня нет уверенности, что так можно о голосе... лица не видно, видно траву, а голос слышно...):

«...Бог Платона, дохристианский и, возможно, оказавший не меньшее влияние на христианскую концепцию, чем Бог библейский, лишен гендерных признаков, хотя все еще недопустимо сказать „лишена“. Но если говорить о христианстве, то попытки коррекции ничего не меняют. Ни попытки феминисток доказать, что отцы церкви были на самом деле матерями, ни повышение статуса Девы Марии или Марии Магдалины, потому что все равно это повышение статуса по отношению к мужскому божеству-абсолюту... Иисуса изображали и черным, и азиатом, но не женщиной.

Единственным шансом для христианства стать человеколюбивой религией было бы признание того неоспоримого факта, что Иисус был не бинарен. И женщина, и мужчина, ни женщина, ни мужчина, жертва для всех. Если вдуматься, были в Иисусе и типично женские черты: эта нежность черт в тридцать три, эти локоны... Но и борода. Отсутствие партнера или партнерши... Отсутствие адаптации к обществу... Может, сделав небинарность Иисуса догмой, христианство впервые в истории могло бы приблизить человека к тому, что мы мечтательно называем „человеком“. За всю историю человечества человек еще ни разу не был человеком, хотя достаточно часто бывал скотиной».

По одувачику ползет букашка, я слежу. Одуванчик похож на солнце и на желток, букашка, скорее всего, безопасная для цветка, вызывает нехорошее чувство загрязнения. Но я ничего не делаю.

Я сажаю цветы, там, где закопан тот, та. Моя учительница, мой учитель. Стараюсь заставить себя грустить. Однако сознание естественного хода вещей сильнее искусственной скорби. Скорее, мне немного страшно. Будут приходиться ко мне, мне нужно будет слушать. „К тебе они приходят, чтобы рассказать то, что не могут рассказать ни мужчине, ни женщине. Никому другому. Слушай, смотри им в глаза. Пропускай через себя. И все. Не требуй большего ни от себя, ни от них. У каждого свое место, свои возможности и способности. Они приходят не к тебе, а к себе“. Все, кого вы видите здесь, все экспонаты — они приходили ко мне и рассказывали... Все это мне уже доводилось слушать. Их ноша становилась легче».

— А можно мне задать вопрос? — попросила Зоэ, однако экспонат, такой живой секунду назад, замер и утонул в пустоте. — Но почему, почему нельзя, я тоже хочу!..

Слова заглохли в гулком музейном пространстве, они с Андрисом медленно пошли дальше — по кругу, и она не стала заканчивать фразу о том, что тоже хочет поделиться чем-то, чем нельзя поделиться ни с мужчиной, ни с женщиной, потому что Андрис — мужчина, и он рядом, а свет над экспонатом потух, и тот слился с темнотой.

Когда снова стало светло и появилась возможность рассмотреть следующий экспонат, сразу стало ясно, что это — женщина, хотя стояла она, отвернувшись, спиной к посетителю, лицом к выстроенной вокруг ее тела комнате со всем нужным: диваном, креслами, открытым наверх окном, за которым колыхались деревья, цветами в горшках, обоями в крапинку, полочками и даже телевизором. Женственный изгиб спины, волна волос на плечах — без всяких сомнений, женщина. Из напряжения заговорила:

«Если бы стала лицом к стене, вплотную, она исчезла бы в ту же секунду, потому что перестала бы видеть комнату, и искушение было велико. Но она стояла и смотрела во все глаза на предметы. Диван. Ярко-желтый плед на диване. Складки на пледе. Полка. Шкатулки. Сувениры. Окно. Открыто. Из окна доносились тревожные звуки машин. Через окно проникали выхлопные газы. Чернота телевизора.

Сознание засветилось в ней внезапно, она не знала, что с этим делать, но не отворачивалась к стене. Некая упрямая воля, под пленкой сознания, но актуализированная сознанием, не позволяла смириться и исчезнуть. Отойти к стене, отвернуться к стене, снова стать предметом среди предметов. Пока что сознание равнялось зрению. Она опустила взгляд на свои ноги. Помогая одной ногой другой, стянула носки и некоторое время рассматривала рисунок вен, волоски на подъеме, бледно-коричневые, с белым ободом ногти и мелкие ноготки на мизинцах.

Зеркала бывают в ваннных комнатах и в прихожих, в гостинных зеркала редко. Заставить себя сделать первый шаг стоило усилия воли. Воля была в ней, но этой волей никогда еще толком не пользовались, она должна была быть разработана, объезжена. Смогла, дошла.

Из зеркала в коридоре на нее смотрела женщина средних лет. Не причесана. Она быстро нашла расческу и стала водить по волосам — сверху вниз, сверху вниз. Изображение улучшалось, словно с него уходили помехи. Теперь надо посмотреть в телефон. Все, что ей нужно знать о себе и о мире, должно быть в телефоне — понимание имелось до появления, было вложено в сознание, плотно засело на краю его пленки. Пленка сознания становилась все плотнее, все толще, и это хорошо. Она искала телефон, роясь в сумках. Но он оказался в кармане пальто. Некоторое время рассматривала пальто:

хорошее. Плотное. Розовое, но не навязчивое, в серую крошку — гармоничное сочетание. Сознание уже состояло из многих наложенных одна на другую пленок и поэтому могло отображать даже трехмерные предметы.

Разблокировать телефон поначалу казалось невозможным, но набирающее силу сознание подсказало ей пути, несколько путей. И она справилась. Теперь узнает о себе. Ник. Имя. Логин. Пароль. Контакты. Интересы. Фото. Статус.

О'кей. Теперь надо сделать следующий шаг. Прошла на кухню. Теперь надо научиться есть, без еды существование невозможно. Она нашла в холодильнике йогурт. Нашла чайную ложку. Положила чайную ложку йогурта на язык. Сначала тело отреагировало судорогами: она закашлялась, согнулась над полом в позы рвоты, но пустому желудку еще нечего было вернуть. Несколько минут рефлексировала: анализировала свои неприятные ощущения сознательно. Решила начать с напитков. Открыла кран, налила в стакан воды, поднесла ко рту и очень осторожно наклонила его у самых губ, чтобы вода полилась в рот. Совсем чуть-чуть. На этот раз горло повело себя правильно: сжалось и разжалось. Прислушалась к эху глотка. Потом сделала еще один, настоженно, и третий. Все получалось. После стакана воды вернулась к йогурту. Медленно, с равными интервалами между ложечками, съела. Приятная спокойная полнота в желудке наградой высветилась в сознании. В то же время был новый указ изнутри: продолжать есть. Она нашла еще суп-пюре. Съела несколько ложек, больше побоялась.

Потом более важное. Нашла музыкальный центр с дисками. Слушала разные композиции, после каждой задавала себе вопрос. Да? Нет? Какие ощущения? Эйфория? Депрессия? Возбуждение? Расслабление? К большому разочарованию, никаких особых ощущений не зафиксировала, хотя определенно понимала, какие из мелодий способны вызвать реакцию.

А потом увидела кроссовки на тумбочке для обуви и бесшабашно, словно давно существовала, словно была всегда, обулась, накинула пальто, захлопнула за собой дверь, сбежала по лестнице... Впервые оказалась на улице. Пошла вперед. По обе стороны пешеходного проспекта мерцали витринами магазины. Никто не обращал на нее внимания. Никто не оглядывался. Очевидно, она шла естественно, хотя ноги и даже живот отзывались на каждый шаг. Смотрела по сторонам: зеленое платье, синий костюм, желтый плед — все это в витринах. В какой-то момент поняла, что сознание постепенно засыпает в ней, его поле сужается, витрины перестают быть отдельными, с отдельными товарами, а сливаются в две пестрые, поблескивающие стеклом полосы и вовсе перестают восприниматься. Или лица прохожих — она уже через секунду не может вспомнить, кто был перед ней только что. Тревога, даже тоска заставила вздрогнуть при этом открытии — сознание стало частью ее, важной частью, и она уже отчаянно не хотела его терять. Но тут же пришло понимание: это нормальный процесс и нормальное состояние, люди не живут дни и ночи в ясном сознании, наоборот, большую часть времени оно сужено или отвлечено, так что ничего экстраординарного с ней не происходит. И даже купила себе мороженое. В кармане были деньги, и она говорила продавщице, говорила, как все. Язык ощутил холод, а потом вдруг вкус и холод смешались, высвобождая что-то новое, и впервые она получила удовольствие от пищи. И впервые мышцы ее лица слегка напряглись, рот растянулся в улыбке, и эхо улыбки приятно растеклось по всему телу».

— Ты говоришь о себе? — перебила Зоя, и Андрис дернул ее за руку — вроде не положено посетителям говорить здесь, говорят экспонаты, но женщина ответила:

— Да.

— Почему ты тогда не хочешь повернуться к нам лицом?

— Я боюсь...

В этот момент стало ясно, что это не актер и не статуя, а человек, говорящий правду, но было поздно. Женщина сначала опасливым шепотом спросила:

— А я? Где я? Сознание есть, а где я? Оно включается, выключается, направляется то туда, то сюда, расширяется, сужается, а что же я? — И тут она перешла на крик, который таился в шепоте: — Я хочу! Я! Хочу я, я, я! Я, где я? Почему? Я! Я! Почему? Я!

Они отступили на несколько шагов, свет погас, но в последнюю секунду увидели лицо повернувшейся к ним — оно было каким-то плоским и белым или очень бледным, маленький носик, белые реснички, не красивое, но и не некрасивое, странное...

— Не люблю такое, — пробормотала Зоэ в темноте, в которой они продолжали идти по окружности, — туда, где их уже ждала следующая, ярко освещенная. Зоэ казалось, что их хотят отвлечь, потому что что-то пошло не так, но она не делилась своими соображениями.

Одетая в белое, без всяких деталей, просто на бледно-розовом фоне, новая женщина не боялась, наоборот, настойчиво искала их взглядов — то смотрела на Зоэ, то на Андриса и говорила очень четко, немного замедленно, словно для детей или иностранцев, но при этом мечтательно. Или имитируя мечтательность — как это делают в аудиозаписях для изучения иностранных языков. Откуда-то потянуло приятным цветочным ароматом.

«...Входить в дом, где едва уловимо колышутся белоснежные полупрозрачные шторы, и солнечный луч скользит по ним, не заметив кристального окна, и дальше плывет солнечным зайчиком по мебели, по полу, не находя ни пылинки, по зеленым свежим листьям домашних растений, и воздух свеж, и чистота спокойна, словно совесть. Не хотите ли пройти в ванную комнату, где из безупречно блестящего хромом крана льется родниковая вода, кафель переливается первозданным перламутром и потолок бел, словно антарктическая равнина? Здесь можете омыть тело, о, сколько средств здесь: и шампуни, и гели, и бальзамы, и кремы, и пахнет едва распустившейся сиренью. Надеть чуть жестковатую от глажки сухую светлую одежду или лечь в пахнущую бризом постель, чтобы ждать возлюбленного либо возлюбленную, столь же чистых. Чистая кожа заставляет сильнее биться сердце и радостнее любить».

Флоральный запах становился интенсивнее, настойчивее. Женщина-экспонат перешла на шепот:

«Когда я была в восьмом классе и нас всем скопом повели на осмотр к гинекологу, „чистенькие“ говорили о девочках, которые еще не начали сексуальную жизнь — только тогда говорили не „сексуальную“, а „половую“».

Снова повысила голос:

«Чистота завораживает, так что, достигнув ее, мы достигаем младенческого забвения, хотя мы взрослые. Взросление — это осознание сути чистоты. Обеспеченные люди нанимают для создания чистоты других людей, которые вместо них моют и дряют, люди бедные, как и люди среднего достатка, занимаются чистотой сами. Основной способ достижения чистоты — яд. С помощью ядов отмываются, отчищаются, выедаются признаки наступающей на чистоту жизни плесени, одноклеточных, которые быстро покрывают раковину склизкой пленкой, забивают стоки и сливы. Едкие яды добавляют

блеска. Яды для истребления тараканов, пауков, муравьев, мух, порой и млекопитающих — мышей или крыс. Яды необходимы, чтобы отмыть, отчистить, отдраить, отстирать, чтобы пространство дышало чистотой, а время — нежной свежестью.

Смысл чистоты — убрать все мешающее. Потому что иначе для нас невозможно, чистота — залог здоровья, чистота — залог жизни, ее единственная возможность для тех, кто уже сделал одной ногой шаг из природы и завис над пропастью. Мы боеем и мрем без гигиены. Без зубной пасты в пластиковом тюбике портятся наши милые, белые, неспособные к охоте зубки, сплюнутая паста течет в море, пенится белым, пенится серым, пенится красной кровью наших десен. Чистота необходима нам как воздух, который тоже должен быть чистым — мы проветриваем, ежедневно проветриваем. Тела мы очищаем изнутри специальным чаем, диетой, слабительным, антибиотиком.

Мы моем руки. Лицо. Ноги. Половые органы. Пол.

Но чистота выворачивается, не дается нам в руки — хрупкая, как снежинка, она то тает, то ломается. Стоит только расслабиться, ослабить хватку — покрывала пыли погребают нас, забывая бронхи, плесень расплозается по продуктам и потолкам, переползая на кожу, насекомые заводятся в углах и в волосах, гниют осыпавшиеся листья домашних растений в непроходимых джунглях неправильно перемещенных вещей, инфекция проникает в ротовую полость, в легкие, в кровь. Мы, женщины, знаем это, ежедневно (простигнуть), ежечасно (протереть), ежеминутно (сполоснуть), вооруженные подозрительными химическими субстанциями, мы драим унитазы и привычно вдыхаем желтые и розовые спреи, и синие для стекла, разбрызгивая по поверхностям, по всем поверхностям, кроме мраморных, брызгать на мрамор запрещает инструкция.

Чистота — это отсутствие лишнего, как на микроуровне, так и на макроуровне. Все лишнее невыносимо и опасно. И мы удаляем лишнее: растворяем, стираем, мы выносим наши ведра, мы даже понемножечку сортируем — это обеспечивает некоторую очистку совести — и совести нужна чистота. И за пределами нашего дома, нашей ограды, растут груды лишнего, горы лишнего, острова лишнего.

И текут мыльно-грязные ручьи из наших стиральных машин, и текут, и превращаются в коричневые реки, и собираются в мутные океаны, и извлекаем мы из барабанов наши белые одежды, и сушим, и гладим, и надеваем на себя, и улыбаемся, шагая босиком по вымытому средством для ламината полу, наши белые подошвы прозрачны в солнечных лучах, чистота и покой в наших шагах.

Чистота нашей кожи, нашей одежды, наших домов, нашего неба и наших помыслов. О, не прекрасна ли чистота наших душ?»

Зоэ закашлялась, уходить пришлось спешно, потому что едкий запах стал невыносим — цветочный запах химического производства, Андрис обнял ее, но это только раздражало, она убрала его руку — чтобы толком прокашляться, полезла в сумочку за платком — прижала бумажный прямоугольник к губам — незаметно выплюнуть мокроту. Как неприятно. В выставочных залах не бывает урн. Сложила платок так, чтобы слизь осталась внутри, и просунула в карман джинсов. Пробормотала:

— Все меньше мне это нравится!

А свет над женщиной почему-то не выключали, она бродила по своему розоватому пространству с ведром, может быть, даже пустым, тогда — плохая примета, но Андрис ничего не ответил, похоже, Зоэ задела его самолюбие, отбросив руку, — он-то хотел помочь, но она хотела откашляться...

Следующим был мужчина. Он сидел в очень удобном на вид кресле, но на самом деле даже не в, а на самом краешке, сидел неудобно, сгорбившись, опираясь локтями на колени и при этом то и дело теряя равновесие, чуть ли не падал и снова возвращался в прежнее положение. Был плохо подстрижен, старомодно одет, но не стар.

— Пьяный, похоже, — Зоэ проверяла контакт с Андрисом, и на этот раз он отозвался — неопределенно усмехнулся, но реакция была, значит, обиды не было.

«...Накатывающие время от времени приступы отчаяния, совершенно бессмысленные. Но от этого не менее острые. Словно медленно входящий в диафрагму нож. Поводы? Всякая ерунда. Например, осознание того факта, что все живое обречено есть друг друга и причинять друг другу боль, иногда конкретные случаи, но не те, которые обычно рассматриваются как ужасные. Из газет, например, что в породах кур-несушек птенцов мужского пола убивают и даже не едят, потому что они не нужны и не вкусны. То есть неприятные, но привычные вещи... о которых и думать-то странно. Однако бывают моменты — будто впервые узнал, и выхода из бесконечной темноты — нет. Это еще куда ни шло, эта скорбь мировая по поводу неудачного мироустройства. Но бывает совсем просто и глупо: причесываешься и приходишь в отчаяние просто от количества раз, которые уже причесывался и еще будешь причесываться. Дурная бесконечность. Или что-то еще более банальное: берешь какую-то вещь, пусть полотенце, и думаешь о его производстве, о его износе, обо всех этих цепях, уходящих в обе стороны в бесконечность, и начинает тошнить от отчаяния. И мыслей-то при этом никаких нет, скорее ощущение всех отношений, которые не дают двинуться, мы будто связаны веревками отношений... все эти мелочи, следствия и причины, гадость и абсурдность... невозможность прекратить... и иногда на много дней.

А бывает сон: будто я вхожу в пустой дом, заброшенный дом, который скоро снесут. Все в пыли, все в граффити, банки из-под пива, использованные презервативы — кто эти смелые люди, не боящиеся пить и любить в таком месте? Я бы никогда и не зашел сюда, если бы не... Есть причина, о которой я не помню.

Я поднимаюсь выше по ступеням, чем выше — тем чище, значит, и им бывает страшно — этим людям, я выдыхаю с облегчением, противно быть трусом, а теперь я смелее их, и воздух здесь вроде бы чище, чем выше — тем свежее, хотя нота затхлости останется. Я поднимаюсь на последний этаж. Грязь и лужи на полу. Через прохуdivшуюся крышу сквозит небо, посреди комнаты старый стол, вместо скатерти покрытый грязью. А на столе лежит яблоко. Среди серого тления и разрушения оно абсурдно яркое — разводы красного, зеленоватого, белого, точки красоты. Словно его сорвали за минуту до того, как я здесь появился. Пальцы вздрагивают, ладонь тянется, под языком — теплая волна слюны. Но я не знаю: может, оно отравленное, как в сказке? Гладкая поверхность блестит гордо — именно это слово приходит в голову. Но может, это ловушка — как в Библии? Я не знаю. Сознание того, что мне необходимо сейчас же схватить яблоко, столь же сильно, как сознание того, что делать этого нельзя ни в коем случае. Сомнение считается чем-то преходящим, легоньким, но тут оно тяжело... невыносимо. Будто меня сжимают прессом. С двух сторон. Я сомневаюсь и мучаюсь, пока не просыпаюсь. Скажите, что мне делать с этим?»

Смотрел с ожиданием, с просьбой — а они ушли от него, хотя свет еще даже не погас, просто уже устали, но не бросать же на половине окружности...

В следующем круге света увидели женщину. Рядом с ней не было никаких предметов, только черный фон, какие используют в фотосалонах. Она была голой, сидела на корточках, обняв себя руками, будто мерзла. Между прядями волос торчали позвонки на закругленной спине. Не выглядела ни слишком молодой, ни слишком привлекательной, но в то же время не была старой. Была стройной, но чересчур жилистой. Зоэ сначала не поняла, почему женщина кажется *откровенно* голой, стыдно-голой — в наше привычное к наготу время, потом сообразила: у той не были выбриты ноги, зарос-

шие сильно, как у всех темноволосых — в длинных волосах чернота мешалась с седой. Женщина начала бормотать, глядя перед собой. Поначалу невнятно, позже будто расслабляясь. Со временем она даже выпрямилась, и Зоэ ее тело по-прежнему казалось некрасивым, но она заметила, что Андрис отступил и напрягся — видимо, что-то притягательное находил в ней. Зоэ же было неприятно смотреть: женщина все время тянулась, изгибалась, пока говорила, почти незаметно, но в то же время с каким-то нездоровым напряжением, может, сексуальным, но не это отталкивало, а жуткое одиночество живого тела посреди физической черноты:

«Все другие ушли охотиться за едой, Глупа осталась одна: только со Старушей и маленькими детками. Один ребеночек ее, она его любит, да, качала на ручках, носиком гладила, гладила, но только он не совсем маленький, не на молочке уже, надоело и руки болят, сказала: побежит сам, поиграет, и он побежал. Дети прыгают и шумят, балуются, камни бросают. Маленьких нет, потому что тогда было холодно. Было холодно, молочненьких не осталось, а одного медведь украл — у Лысы. Лыса плакала, плакала, все плакали. Лысу медведь украл, а потом умер, Лыса умерла. Надели на Лысу бусы и на деток бусы, самые красивые бусы, и расцветили щечки толченым красным камнем. Это давно было, Лысу спрятали Глупа в пещере, к удалившимся отправила. К удалившимся, кроме Глупы, никто не ходит, все боятся, но Глупе там хорошо. Там темно и слышно воду, глубоко в женском месте земли, и слышно, как удалившиеся в животе земли шепчутся. Когда Лыса к ним попала, стала *иной*. Иногда *иные* говорят полезные вещи. А Глупе хорошо и голова не болит, она там может до заката быть.

Глупа хотела всех убедить, что сегодня ничего не будет и охотиться за едой без пользы, а можно набрать немножко корешков, грибов, если они не смертельные, но только не искать зверей. Про запасы Глупа молчала, чтобы никто о них не вспоминал. Остальные соглашались, но слишком хотели мяса, давно не ели, еще кое-какие косточки остались, сухие совсем, а хотелось мяса. Глупа догадалась, что они думают, что будет как в прошлый раз, они специально решили ее оставить. В прошлый раз она была больная, голова болела, и она осталась и пошла в пещеру, смотрела в стену, смотрит — а там кабанчик. Он был спрятан в трещинках и выступях, и Глупа начала обходить его, потихоньку, сначала угольком, потом белым камнем. Не так, как на стенах, где удалившиеся и дух, а понемножку, слабенько, но он оживал, и выходил из стены, и говорил с ней. Глупа не заметила движения солнца, но когда кабанчик смолк, то поняла, что он испугался голосов за спиной у Глупы. Это свои возвратились, они все ахали и вскрикивали, и даже подпрыгивали некоторые: они принесли этого кабана с кривым клыком, как на стене, вот почему он на стене замолчал и стал мертвым. А тот, которого тащили, был еще живой, но, кроме Глупы, никто не видел, глаза его помутнели. Глупа взяла свой любимый заточенный камень, который никто больше не берет, потому что Глупа его любит, размахнулась и ударила в слабое место на голове у кабанчика. Кабанчик сразу умер, и у нее в голове боль прошла.

Никто не спросил, почему она это сделала, все смотрели на изображенного, точно такого же, подходили, отходили и смотрели на настоящего, удивлялись, смеялись, качали головами, пели, подсказывали. Короток начал просить огонь вспыхнуть и выглядел, будто у него еще вдвое больше роста, чем есть, потому что огонь его слушает, а он на самом деле очень большой, потому его называют «Короток», потом смеялись и принялись за работу со шкурой, с кишками, и Глупа подходила, она хотела смеяться и работать со всеми, но на Глупу махали руками: нет, нет, Глупа убила зверя, ей нельзя подходить, и щелкали зубами, и хохотали быстро. Глупа и Старуша не работали. Старуша сидела и бормотала на своем языке, ее никто понять не может, кроме *иных* — удалившихся.

Одна Кругляшок ругалась громко, противно, что нельзя изображать там, где рядом живешь, из-за этого все скоро умрут. Но не надо слушать Кругляшок, потому что она противная дура, и я, Глупа, закричала на нее так: она к нам от других пришла, и это сразу видно, другие все дурацкие, и я, Глупа, закричала, что я не отнесу ее к удалившимся, когда она умрет, потому что она чужая и удалившиеся ее не примут, она не превратится в *иную*. Она стала плакать, но быстро перестала, потому что ее погладил и поцеловал Широкий. А я, Глупа, пошла к Коротку, он поговорил с огнем, и от углей радостно пахло, и уже первый жирок капал, и пахло так сладко, что я уже тихо начала танцевать, но на меня замахали руками: рано, рано! Я, Глупа, смотрела, как веточка чернеет в огне, но из-под черного светится красным и ломается, и нюхала ее дым, потом я, Глупа, посмотрела на мясо, оно уже было не кабанчик, а вкусное.

Я Глупа — это одна мысль, которую я открыла как знание. Глупа — это и есть я. Потому что когда больно порежешься или вкусно ешь — это не Прекрасе, не Старуше, не кабанчику, а мне больно, вкусно. Мысль нашла меня, когда я ушла в пещеру глубоко, в ее женское место, и стояла, но удалившихся не было, *иных* не было. Было темно там, и была только я. Даже Она исчезла, ничего не было, была я, и даже не Глупа. А я ведь люблю Глупу, потому что Глупа как Короток, который самый большой, Глупа потому что самая умная. Глупа я попробовала объяснить, что я, и они, и ты... что я — как мы, но один. Но свои люди не поняли, хотя очень старалась. Я — это моя тайна, Глупы.

Но это было не в этот день, сейчас, а в другой, который я теперь вспоминала. Мы ели-ели-ели и смеялись-смеялись-смеялись от жира, и соли у нас хватало — белой, без грязи. Глупа нашла, когда надо было, много. От нашего огня отрывались звездочки и летели обратно на небо, и мы смотрели туда, но было плохо видно, потому что красный свет от огня не пускал в небо, только было видно, как они летят. Потом, когда я отошла, увидела, сколько их на небе, звездочек, идохнула на них, они тоже засмеялись. Но мы не сразу есть начали, мы еще поблагодарили и попросили прощения у кабана и его мамы. Чуть-чуть покружились и попрыгали от радости, но так, чтобы не испугать кабана, чтобы не сбежал. Было очень много звезд в небе, больших и маленьких, лучи их дрожали веточками, и там, где белым помазано, особенно крупные свисали. Я смотрела вниз с горы, внизу все заволакивало черным туманом, и только наш костер спаривался со звездами на небе кусочками света. Уже стемнело, мясо жарко пахло. Мы сидели все кругом, так хорошо было смотреть на своих, потому что от огня свет.

Так вьются волосы Прекрасы в зайчиках огненного света по ее груди. Так стекают струйки пота по шее на плечи Слабенького, широкие-широкие, поэтому я горжусь, что мой один ребенок с ним был, ишу глазами ребенка, ребенок уже почти совсем вырос, стал Светленькой. Так Широкий смеется, все говорят много, перебивают друг друга, шутят, что кабан танцевал и танцевал, пока его не загнали. Взбудораженные еще. Короток трясет бородой, запачканной в жир. Даже у Покусанного лицо красивым кажется от огня. У меня с Покусанным тоже ребенок есть, уже большой, и я не помню, кто он и где, он ушел, но Покусанный, хотя и страшный, а ребенок вышел красивый, он ушел к другим, и я плачу иногда, что не вижу его, а потом забываю и не помню. И дети, большие и маленькие, скачут тут, выхватывают куски, которые им не положено, хихикая, и собаки дышат рядом жарко и жадно, и поскуливают, и хватают выпавшие кусочки, неосторожно оставленные на земле косточки (а я сразу откладывала, чтобы потом на варево).

Так было. Смотрела я на Старушу — она счастливее всех. Жевать не могла, все сосала один и тот же кусок мяса, а улыбка у нее прямо огромная, а зубов мало, только сзади рта из ума повыврастали, от этого еще огромное улыбка. Наверно, она вспоминала

другое время, в которое жила, свое время и прежних, своих людей, которые все уже умерли давно, по три раза, или даже еще раньше, до прошлых, многих из которых я помню.

Потом, когда поели и наговорились все и были веселые очень, я сказала взять с собой огонь на палках, чтобы свет был, и повела их в пещеру, вглубь. Они боялись, но после еды все довольные, и я там давно приготовила толченный со стеблем камень, красный, каким посыпают удаляющихся. Мы все смеялись и к стеночке прижимали руки, и красные руки на стене появлялись. Я такое видела в пустой пещере, в другом месте — там не было людей, а руки их жили. Ладони еще в жиру, порошок прилипал так хорошо. Свет от огня ползал по коже вверх и вниз, и я видела Широкого с его большой бородой и большим мужским местом, Он-Вместе и Она-Вместе, даже — надо же — хоть на шаг отошли друг от друга, и Ушко-Ракушка, и Покусанный, и Короткий, и Прекраса, конечно же, — волосы уже белеют, а все так же красива в свете огня, а Светленькая как цветочек, дети сновали между нами, большие и маленькие, я ловила своего, чтобы пощекотать, но все время попадались дети Прекрасы и дети Их-Вместе. Дети визжали от счастья, и все мы, сытые, обнимались, и гладили друг дружку, и, как птицы, терлись лицами, и хохотали, и я была счастлива, больше всего счастлива в этот день. Только Старуши не было, она у огня осталась, ей все время холодно, и она не любит ходить, ей тяжело. Она бы и в отхожее место не ходила, но Короток сильно ругается и бьется — ему плохо пахнет. Но ей сюда и не надо — она и так не умирает никогда, все ее умерли, и следующие умерли, и следующие — а Старуша никогда не умрет, поэтому мы ей всегда кушать даем вкусное, и гладим ее руками, и щекочем, чтобы она улыбалась. Теперь наши руки здесь живые, и мы не умрем больше, думала я.

Но потом все ушли, не оставив огня, им все равно было страшно так глубоко внутри, они всегда боятся внутри — и Ее боятся, в чьем животе, и удалившихся, спящих под нами, под полом, внизу, куда доходит вода, — а я осталась в темноте. Не Глупа, а только я, будто их не было. Как темно было — и я одна плакала. Не из-за того, что темно — я умею и дойти туда, и дойти сюда, всюду, куда надо, — я не вижу, но мне все равно понятно. Из-за другого. Им нельзя было сюда ходить. Нельзя было отпечатывать ладони. Кругляшок знала, что нельзя изображать, никогда ничего нельзя. Кругляшок все знает, но я не разрешаю ей говорить и бью ее, когда Широкий не видит. Я стала сдирать наши руки со стенки, но я их не видела, а земля под ногами и вокруг все дрожало — Она так рассердилась. Мы оставляли ладони и изображали прямо внутри Ее женского места. Как я сержусь, если меня там трогают без спросу — я ощутила Ее гнев, так что вместе со стенками дрожала сама, я пробовала стирать, плевала слюной и стирала, но я знала, что все остается, и я не видела, что там я терла, — темно. Тогда я застыла. Иногда это помогает — застыть так, чтобы тебя не видели. Один раз мне помогло с медведем. Застыв в темноте, я уже не чувствовала, чтобы Она дрожала, ничего вокруг не было, и меня тоже.

...Кричали: Глупа! Глупа! Где Глупа?! Глупу забрали удалившиеся? Нет, *иные*, отпустите Глупу, пусть идет к нам! Она глупая, но от нее много пользы!

Или кричали, или у меня в ушах звенело. Я пошла к ним, вернулась. И все спросили, почему в такой хороший вечер Глупа плакала.

В тот раз, в то сейчас, все мясо съели, все. Не солили. У нас там, в животе Ее, но не там, где *иные* и удалившиеся, а в другом месте, спрятано еще много-много, мясо в соли — было хорошее время, много зверей бежало в одну сторону, и соль была хороша...

Но в то сейчас не солили, а все съели: и на завтра ели свежее, потом уже не так вкусно, но ели еще дни, прямо животы у всех выросли, кабанчик был такой маленький, что огромный, и все стали полные, красивые, и нам не хотелось уже есть, живот болел,

а мы все равно ели и ели с большой радостью, хоть и не такой большой, как вначале, и даже, тайком друг от друга, хорошие куски давали собачкам — а собачка Прекрасы и с самого начала лучшие куски получала, потому что Прекраса думает, что это ее ребеночек. Каждый день я вытирала часть изображенного кабана со стенки мокрой травой — сколько съели, и все стерла полностью, когда остались пустые кости, потому что кости — это уже не животное, но они хорошо горят, если кто-то хочет зайти глубоко внутрь Ее. Но не я, мне не нужен свет. Когда я там, я и так знаю, куда идти и куда не идти. Она сама ведет меня, и там я ни разу не раздирала кожу и не ставила синяков на тело. Все витые блестящие камни и прозрачные с волнами перегородки, все, на что любят и боятся смотреть свои люди, оно переходит внутрь меня и исчезает во мне, когда я иду там, и исчезает Глупа, и я исчезаю. В темноте нет ничего. Звук капель — это не быть.

...Старуша бормочет, дети визжат, а те люди, которые ушли охотиться за едой, думают, что я изображаю опять и они спокойно изловят опять, но я не могу, просто потому что захочу, а не пошла я, потому что я не люблю охоту. Мне самой страшно и жалко, и все время кажется, что зверь сбежит и о нас расскажет другим, и все узнают о нас и будут нападать на нас или убежать сильно, и больше не будет еды и покоя. Я думаю, женского вида людям нельзя на охоту, а то может зверь потом, когда только родится ребенок и еще в кровке будет, стащить. Звери любят маленьких. Мне верят и плачут, когда я говорю, и руки высоко поднимают. Но потом говорят: а нет, если вы, женского вида, не пойдете, нас мало и не получится окружить, а если не окружить, зверь убежит, потому что ему будет куда убежать. Я люблю ходить искать корешочки, грибочки, травки полезные: идешь и высматриваешь, а потом видишь — и так весело, и прямо и под кустом, и под стволом что-то полезное, и не убегает. Но есть корешочки никогда не бывает так весело со звездами, как мясо. Кто будет с одних зернышек и корешочков плясать?

Теперь Старуша хочет есть. Старуша дурная, надо же ждать, когда вернутся с мясом, и умная: зубов во рту мало, жует плохо, что ей мясо, тем более его и не будет, потому что никого они не изловят сегодня! Можно сделать варево. Я нашла наверху за камнем косточки, что от собак спрятала, это всегда хорошее дело — что можно из косточек устроить, пока они не пустые, а когда пустые, то тоже много хорошего можно сделать. Вышла, поискала всякого. Посмотрела вниз — не поднимаются ли еще наши. Вниз падали холмы, было видно и большую речку, и деревья, но ни наших никого, ни животных не было видно.

Хотела идти, а тут глаза мои вдруг заметили движение там. Увидела их — других, идущих через дол — сразу кожа мурашками покрылась и косточки замерзли у меня внутри. Я застыла, чтобы меня не заметили. Другие — тоже люди, но не наши. Они не похожи на нас. Они шли, размахивая руками, они, кажется, говорили все друг с другом, не видели меня — неосторожные. Их было примерно пополам — большие и дети, и очень-очень много, больше нас намного. Скрылись за маленьким холмом, вдалеке. Так сердце зашумело, и заныло в животе и в женском месте от опасений. Не наткнутся ли на наших? Покинутые остановки других я видела, у них подсмотрела, как варево делать — догадалась по следам, и еще пару полезных вещей подсмотрела. Бывает, когда скучно, я своим людям рассказываю, как бывала любовь у наших и других. Но все равно тревожно.

Детей прогнала от земляной дырки для варева, ух, накричала на них, бегают везде, и вынула из дырки старенькие камни, они были на ощупь липкие, в старом жиру. Хороший жир был... Вспомнила я, и во рту, за нижними зубами, слюнка потекла. Дыру в земле я у чужих посмотрела, но варево все едят теперь, если хорошей еды нет.

К косточке и хорошим травкам надо закинуть горячие камни из огня, это тяжело, чтобы не обжечься, но я умею. Я огонь умею, но Короток не знает — чтобы не было грустно ему.

Варево еще не остыло, как набежали дети, плосочки взяли — и хлебать. Я поела, они поели. Я стала звать Старушу, а она говорит, что ноги не несут. Пока я ее уговорила, там что не съели, почти все в землю просочилось, я для Старуши едва набрала две плосочки, туда-сюда ходила, но Старуша сказала потом, что сыта. Старуша ест мало, ни пользы от нее, ни вреда, но она интересная, если смотреть на нее. Ноги у Старуши длинные, кривые и все сморщенные, волос мало и совсем серые, и растут не вниз, а во все стороны, груди у нее как колючки, а живот большой и круглый, тоже в морщинках и в точках весь. Женское место совсем лысое. Глупе нравится иногда гладить Старушу, потому что кожа у нее такая странная и сухая на ощупь, а Старуша говорит: «Гвупа, Гвупа».

За детьми еще прибежала собачка, такая наглая. Почему на охоту не пошла? Старшие дети пошли, другие собаки пошли, а она осталась. Она хочет щеночком быть, а сама здоровая уже, собачка Прекрасы. Эта собачка думает, что я дурная, потому что я не умею различать добро и зло по запаху. На самом деле она не настоящая собачка.

Прекраса — у нее больше всех детей. Вот эти дети всякие, что здесь бегают — тут много ее. Тут и мой ребенок есть, все равно чаще всего смотрю на своего... Но Прекрасных больше по количеству. О, смотри-ка, что творят!

Пошла я к детям, побила их немножко и отправила в отхожее место. Нужду у входа справлять, еще к огню близко — дурные какие. Плачут теперь, что больно. Даже Старуша и та на восходе и на закате отходит, а ее ноги не несут. Еще легонько по уху дала напоследок, потом пожалела и поцеловала. Ты глянь, как на Прекрасу похожи! Но не такие красивые, как она. Прекраса — не наоборот, она на самом деле такая. Вот сегодня: будут возвращаться, я буду волноваться, волноваться и высматривать ее, чтобы она не была ранена или не исчезла от нас. У Прекрасы волосы большие, блестящие, длинные, кольцами, и глаза большие светятся, как звезды на небе, и длинные, густые ресницы до самых бровей, и брови гладенькие, и грудь больше, чем у всех, и ноги, и живот, и попа кругленько торчит, а в талии узко, и губы красные-красные. Она такая прекрасная, что восхитительно, что она есть именно среди нас.

Но думать не умеет: той весной, с первым солнцем вдруг на нее гон напал — то с одним, то с другим, и я пугала ее, что рано родится тогда, надо ждать еще, а она: не могу, говорит. У меня любовь, в лучах солнца я без воли, против солнца никакой силы. Ко мне вот никто в незрелую весну не приблизится, знают: заговорить могу, что вообще перестанут любви хотеть-искать. И мой ребенок тогда на лето родился. Играет себе. А у нее на самую зиму родился слабенький и тут же умер. Я сама украсила ребеночка для Нее, отнесла его вглубь, в Ее женское место, где *иные*, и передала им, туда, в Ее-земли живот. А Прекраса рыдала прямо, и выла, и головой ударялась в землю, а потом ушла куда-то. Куда ушла? Вся в лохмотьях крови еще, как родила. Два дня не было.

Печалились: потеряли Прекрасу. Все мужчины и мальчики, все два дня рыдали громко, и тянули себя за волосы и за бороды, и дергали места мужские, а слезы все лились, и по глазам себя били, и искали ее, кричали в лесу и везде. И я плакала, и еще сильнее оттого, что по мне так не зарыдают, а без меня хуже, чем без Прекрасы, я думаю: кто без меня даст хорошую травку, если в животе внутри колючка выросла, кто заговорит кровь, если течет рекой? А Прекраса вернулась — спокойная, довольная, волчонок на руках слепой. Где она его взяла? Стащила у волчицы — и где такую волчицу найти, дурную, как Прекраса, чтобы на зиму щенят рожала? Как это можно? Может, неглавная волчица тайком от сестры нагуляла, а Прекраса спасла. Тайна. Вот так потом кормила своим молоком, как ребеночка, и успокоилась. Теперь собачка получилась

балованная, думает, что ребенок, и еще маленькая, охотиться не хочет, а уже большая, потому что они быстрее растут. Я тоже охотиться не хочу, но от меня польза, я думаю, а собачка только тьякает и ест, совсем бесполезная собачка.

Я подошла к собачке, она подняла на меня глаза — зеленоватые и очень прозрачные — и посмотрела совсем по-человечьи, так что я отшатнулась. И запах волка в нос ударил. Волк и волк! Собачка не скалилась и не напрягала ноги, но мне казалось, она вот-вот бросится на меня, потому что знает, что у меня в голове: что я хотела убить Прекрасу. А она Прекрасу как маму любит. Показалось, что погибла я — с волком мне не справиться, и ноги мои задрожали. Но потом собачка опять весело к детям побежала.

Когда я была совсем молоденькой, вроде как Ушко-Ракушка сейчас, я хотела быть Прекрасой, мне так было горько, что я — не она, вокруг нее все мужчины, протягивают ей сладкие кусочки мяса и даже мед от пчелки приносят, и не жалко им, что руки ужалены от этого, и гладят ее. Ей дарят бусы. Столько бус у нее над грудью — блестят камушки, ракушки. У меня своя одна жилочка бус, порвалась, а я ее починила. Я могу бусы красивее делать, чем у Прекрасы, я красивее могу, чем мужчины, — но себе не делают бусы, все бы смеялись.

Я один раз подумала: сделаю себе бусы и скажу, что чужие подарили, те, что ходят, все туда-сюда ходят, а не живут в одном месте — другие люди. И в лесу, где деревья, я сделала бусы тайком, но деревья смотрели, и головами своими качали, и скрипели: как наши мужчины пойдут чужих искать и бить, увидев, что те мне бусы подарили, а чужие не знают ничего, и обидятся, и поубивают наших мужчин. Я испугалась, зарыла бусы в землю и сбежала. Потом там куст вырос со сладкими ягодами, как моя любовь к Прекрасе. Когда-то я хотела Прекрасу убить, собиралась так, чтобы не резко, а тихонько и никому не известно, в лесу, например, чтобы меня наши мужчины, которые все любят Прекрасу, не убили в ответ, а любили вместо нее. Но в лесу нельзя: там каждое дерево смотрит своими глазами из коры. Поэтому я не люблю кору сдирать, когда надо: сдираешь, а они смотрят глазками одиночными. И их жалко, и Прекрасу жалко. И мне Прекрасу все время приходилось выручать, потому что она дурная, то застрянет, то ногу наколет, то свалится в яму, которую для зверя выкопали. Я полюбила ее, потому что она такая красивая и неумная. Я ее гладила и целовала по-птичьей, и помнила ее запах, и хотела, чтобы никто ее не любил, кроме меня, хотела стать ею так, превратиться в Прекрасу, любя ее, убить ее, чтобы Глупа исчезла и осталась только Прекраса... Тогда я опять открыла Я. Что Я — не Прекраса. Но. Я. Поэтому лучше быть Глупой. Может, по мне и не плакали бы, но на меня смотрят так: знают, что я больше понимаю, и ждут ответов, и знают, что без меня не будет ответов, и наконечники у меня самые острые, с зазубринами, ни один зверь не вытащит из себя. А что Прекрасой быть: все ей жить не дают эти мужчины, куда ни пойдет — везде мужчины, тянут руки, хватают, и мужские места их никак не успокоятся. И столько раз рожать детей — никакого покоя животу, грудям никакого покоя.

Дети притихли, собрались вместе на полянке, я погладила их, своего носиком погладила, взяла на руки, покачал, понюхала. Здоровый совсем — это радостно. Потом я пошла на полянку и стала смотреть в направлении своих людей, где охота их. Небо синело над скалами и вздрагивали в воздухе растения. Солнце не горячее. Я правильно угадала: смотрю, идут наши, и без ничего идут. Ведь я говорила. Светленькая на месте, моя красивая такая, я порадовалась — а то боялась, вдруг ее какой зверь тронет или ногу подвернет. Похоже, вообще ничего: ни птички, ни мышки. Вместе-Он и Вместе-Она — как всегда рядом идут. И их дети большие с ними рядом. У них только общие дети, и ходят они все время вдвоем. Как мне это не нравится. Их дети все одинаковые, и все время по двое рождаются, это ужасно — совсем неотличимые,

я боюсь этих детей. У Прекрасы, например, разные дети, потому что она разных мужчин любит, а эти дети — страшно смотреть, одинаковые лица. Если все будут так по двое ходить, что от нашей жизни останется? Все начнет двоиться в глазах. Люди разве аисты, чтобы парами жить? Все по двое разойдутся, и начнут пара с парой ссориться, расходиться по разным местам, не будут делиться, и все будет разрушено, и мы все умрем. Но они меня не слушают. Меня так редко слушают.

Сидели и больше ничего не делали. Хотя столько всего можно — старые шкуры поскрести, и корзинки поплести, но никто ничего не делал, и я тоже. Печаль и безделье опустились на нас.

Я люблю, когда все сидят и мастерят хорошие вещи — из камешка, из деревяшечки, из ракушки, из шкурки, из косточки, из жилочки — из всего. Тогда тихо так. Кто качается, кто прямо сидит, спокойно-спокойно на небе, и солнышко смотрит сквозь листья, и тогда пробормочет кто-то: скажи, Глупа! — и я начну говорить, и сама вижу, что говорю: про прошлую охоту или про чужих, может, про Нее, которой живот — земля, или про снег — откуда каждая снежинка взялась, или про удалившихся, что были при Старуше, про то, как Старуша была молодой, а все слушают и головами качают, и Старуша всегда кивает, когда я про нее рассказываю, хотя я всякий раз разное говорю. А сейчас не хотят в покое сидеть и мастерить, потому что животы пустые воют и ноют. Лишь бы не заметили, что мы варево делали. Уже кровь брызнула, первые капли. Широкий и Покусанный поссорились. Ну и началось: крики, драки, а маленькие дети как раз играть перестали, стоят-смотрят, пальцы во рты засунув. Потом утихло. Потом опять. Кто виноват, что с пустыми руками пришли. И на меня тоже посмотрели, особенно Кругляшок. Но я сразу сказала всем, что я предупреждала. Хорошо как, что никто не заметил наше варево, и дети молчали, и Старуша бормотала на своем — в ее времена говорили другим языком. Свои не знают, что я огонь умею — вот и хорошо.

Я не стала брать с собой света, пошла на слух и на ощупь. Запасы вместе делали, и соль носили снизу, и сушили, но другие не ходят в глубину пещеры, боятся, поэтому я решаю, когда можно что-то взять из запасного. Я стараюсь больше оставить на времена холодные-голодные, на время зимы.

Но голодное уныние накрыло своих людей хуже зимы, закрыло и перекрыло любовь. Злобность со всех сторон, а я не понимала ту злобность, потому что я тайно сытая была от варева. Я решила принести немножко еды, чтобы злобу в животе накормить и доброту наладить. А то еще кто-то догадается про варево, побьют.

Внутри с одной стороны пещеры земля сильно уходит вниз, но мне не туда. Там еще много круглых и вытянутых ходов, там есть озеро, есть дыра к небу — и рядом живут летучие мыши, но они не вкусные совсем. Там живут огромные пауки, там есть большие, накрытые Ее телом пространства с блестящими витыми камнями, и есть стены с изображениями. Мне же надо в другое место, в тупик, сухой и холодный, где нет животных, но есть острые камни, и на них зацеплены большие куски мяса. Войдя, я сразу ощутила, что хранилище не разорили, все на месте. Эхо и запах. Никаких чужих запахов, только мы — запах всего нашего соленого мяса. Так уютно и хорошо, что никто о нем не знает, и медведь не найдет пути так глубоко! Долго шупала ребра зверей с их мясом, нюхала, выбирая, а они все так вкусно пахли, что я кусочки отщипывала и жевала. У нас оказалось очень много запасов. Тогда бежали все звери в одну сторону, как птицы перелетные, а мы рыли ямы, я удивилась, зачем нам столько, и не испортят ли мясо, не утащат ли. Так много здесь всяких ползает, лазает мелких. Но они соль не любят. Соль люди любят и лоси, а собачки терпят, хотя не любят.

Мясу так обрадовались: собаки гавкали, и скулили, и хвостами виляли, люди хлопали ладонями о землю, о щеки, о плечи, друг о друга, и маленькие дети ели так, будто

не было варева. Не так радовались, как свежему, но все равно радовались и поладили все снова. Согласились пойти в лес, поискать грибочков и корешков. Я в который раз объясняла, что не брать — все равно дети красных набрали, но деревья были нами довольны и неподвижно говорили без звука».

Свет погас, однако через секунду засветился снова — возможно, это была какая-то ошибка, неполадка с экспонатом. Женщина только немного изменила позу.

«Сначала я сказала, что у меня болит голова. Потом — что ко мне во сне приходила Испужка и сказала: нельзя на охоту. Испужка давно была, и на нас совсем не похожа: волосики желтенькие и глазки зелененькие, и кожа белая, будто измазалась. Но нашим мужчинами она нравилась, и, кажется, пара детей у нее родилось. Откуда она взялась у нас, никто не помнил, но она уже не ребенком однажды оказалась с нами. Все хорошо так делала, грибы хорошо отличала, но все время она куда-то в угол забивалась, чтобы ее не видно было. Все время будто боялась. Это мне в ней не нравилось. Она пробыла с нами примерно столько, сколько нужно, чтобы вырасти ребенку во взрослого. Потом поранила ногу, и что-то ей жарко было, я ее и поила, и терла, и заговаривала, но наши заговоры и травы ей не помогли, потому что она от чужих, и она умерла. Мы украсили ее красным камнем толченым, и я добавила белого камня толченого, потому что она такая белая была. Я боялась, что наши *иные* ее не примут, потому что она не наша. Я чувствовала так, пока отдавала ее удалившимся. Но они порассуждали и договорились, что раз она пожила у нас и раз она родила детей, то она наша давно. Если бы она знала, то не боялась бы и не была бы Испужкой. Но кем бы была тогда?

Я видела, что почти все думают: идти или не идти? Хотя всем давно хотелось свежего мяса и соленое надоело, как не поверить Испужке! Так что даже дети сбились в кучку и не визжали, а перешептывались, потом эта кучка постепенно передвинулась в сторону Старуши, и дети — и маленькие, и большие, которым тоже пришлось бы идти на охоту, стали слушать ее непонятные рассказы из странных слов, и собаки разлеглись рядом с ними. Светленькая, хотя и большая, а я оттащила ее к Старуше, я вспомнила, что я ее мама, а мама всегда имеет право, и Светленькая рыдала в углу, но все кивали, потому что маму надо слушать, но все равно медленно собирали полезные вещи для охоты.

Так медленно надевали шкуры других зверей, ждали, что я им скажу остаться, и я осторожно потянула их за руки обратно, так, чтобы все понимали... Особенно Ушко-Ракушку тянула, я ей уже сколько раз говорила, что у нее скоро ребенок будет, а она не верит мне, вообще считает, что не от этого дети, а просто так живот растет, потому что она всегда такая красивая. Но на этот раз она быстро согласилась, и все согласились. Чем больше внутри и сбоку в голове боли, тем покоя больше. Мы должны были рассестись вокруг Старуши и, как дети, прислушиваться к ее бормотанию о других, странных, непохожих на нас людях, живущих за горами, и за большой рекой, и за звездами, и на Луне, и внутри Солнца. Слушать, как надо договариваться с матерями убитых нами животных, и что внизу, под пещерой, все уходит далеко вниз и закругляется птичьим яйцом, и что внутренностью яйца загибается над нами вышина, потому что земля — это желток, и воздух, которым мы дышим — прозрачное в яйце, а небо — голубая скорлупа, и в каждом яйце на самом деле живут маленькие люди, как мы, и там маленькие невидимые пещерки — а мы их едим, яйца.

Но тут Короток вдруг предложил пойти поискать яиц в гнездах. Какая глупость — какие могут быть яйца, если лес желтеет, но он настаивал, и некоторые уже собрались с ним идти, а я только кричала, чтобы остались. Громко кричала. Но тут же вскочил Слабенький и закричал на меня, что небо прозрачное и синее, и он хочет наконец све-

жего мяса, и видели даже вчера следы, отличные следы, и скоро начнутся бури, когда все спрячутся и не поохотишься... Я попыталась взять его за руку, как до этого успокаивала других, но он вырвался и ударил мой рот так, что кровь капнула.

И я заплакала. Хотя треснула старая ранка на губе, и мне не было сильно больно, потому что у меня уже сильнее болела голова, и боль в губке даже приятно отвлекла от той боли. Заплакала я не от боли, а потому, что мне было обидно, что это был как раз Слабенький, на которого мне всегда так нравилось смотреть, с которым у меня один ребенок и столько раз пробовали, и если бы вдруг всем вздумалось жить, как Она-Вместе и Он-Вместе, то я бы, может быть, и жила бы со Слабеньким. Я думала, что раз я плачу, он пожалеет меня, но он стал кричать, что я ленивая и не хожу охотиться, как все, и стучал ногами, и сверкал глазами, и с ним еще некоторые мужчины и женщины, а я только плакала, и все меня гладили и целовали маленькие дети.

Потом Кругляшок сказала, что они дурные, что Глупа просто глупая и больная, поэтому ее надо оставить. И может, я нарисую на стене хорошего вкусного зверя. И вот Старуша не сможет защитить или спрятать деток, если будет медведь, а Глупа сможет.

Так она сказала, не злая на меня. Все помирились.

Даже Ушко-Ракушка ушла, хотя я видела, что ей не хочется, а ведь она могла сказать, что у нее будет ребенок, и остаться, никто бы не ругался — но она пошла со всеми. Я осталась одна с детьми и Светленькой, которая меня поцарапала — хотела со всеми, но я не пустила, и с собачкой Прекрасы, и со Старушей. Голова моя не болела больше и мне стало приятно, что я на самом деле очень умная: другие ходят для меня на охоту, а я нет. Если бы Старуша умерла, можно было бы сказать, что я слежу за маленькими детьми, но я не знаю, она будет умирать или нет. Я даже подумала, что свои люди принесут большого и вкусного зверя. Но тут вдруг расстроилась, вспомнила чужих-других, которых видела: вот из-за кого такая плохая охота! Всех зверей убили и распугали. Откуда берутся другие?

Короток как-то рассказывал, что он видел других, и они тащили целого великого зверя. Мне тогда стало страшно: сколько же их может быть, чтобы им было нужно столько мяса, и чтобы окружить великого? А еще Прекраса. Однажды исчезла надолго (не тогда, за собачкой, еще раньше), и не плакали по ней, потому что, не говоря, понимали, куда она. А потом вернулась — довольная, улыбочивая, вся полная, будто ела много в свое отсутствие. Будто была в местах, где сплошная еда везде. Ну а потом гляди-ка: срок пришел, и сразу двойня, но разные. Они уже большие дети и вроде похожи на наших, а может, и нет. Тогда все догадались, потому что как раз другие вокруг сновали. Их не видел никто, кроме Прекрасы, но следы были, и ветки сломанные, и звуки — мы знали, что они где-то рядом. А потом они ушли. Такие были, что вечно ходят, не сидится им на месте. А нас немножко, но мы всегда тут.

Небо было ярко-синим, потом туча проглотила небо, и стал снег. Загремели камни, сбитые ветром, снег закричал и заныл, упало дерево. Все деревья упали. Ледяные горы грохнулись в темноте, а деревья сломались там, внизу. И земля провалилась. Зубы снега впивались, кусали, рвали. Я позвала детей внутрь, и Старушу, и Светленькую — они испугались, побежали за мной. Но снег влетал и внутрь от ветра, и грыз, и бил, и пищал, и кричал на нас. И я сказала, что надо идти дальше, внутрь, в Ее живот. Что проведу без огня. Светленькая закричала: не хочу, там *иные*, но потом заплакала и прилипла ко мне, а была вся в мокрых разводах от снега, и другие дети прилипли, а Старушу Светленькой пришлось на спине нести, я не могла, потому что я своего несла и еще одного маленького, а остальные цеплялись. Мы шли в Ее женское место. Я провела в уголок, где тепло, где течет всегда вода, и журчание поддействовало так, что дети стали тише плакать. Они облепили меня, как песок липнет на кожу, когда намокнешь, потому что я вся была мокрая, вся в воде от снега и в своем поту, потому что тяжело

нести было, и в молоке тоже своем, и я дала им грудь, каждому по груди, как будто у меня груди много-много, даже для Старуши и для большой Светленькой, будто я вся была грудью, и ничего, кроме молока, во мне не было, я дала им пить, и они пили и успокаивались. И так мы были, были, были, пока снаружи все проходило.

Я только говорила детям: „Будьте тихие!“ — чтобы не узнали о нас здесь. И они хныкали-плакали тихо. Светленькая говорила задумчиво: „Где же я теперь найду любимого“, — уже поняла, что не вернутся свои, а я отвечала: „И дети подрастут — станут красивые люди, и есть много людей на земле“.

Первым мы увидели Слабенького. Я попросила детей отлипнуть от меня на чуть-чуть, и они послушались, и молчали даже немножко. Слабенький, весь холодный, в снегу, подошел ко мне и поцеловал меня в правую щеку и в левую щеку, и в нос, и сказал, что никогда не ударит меня и что плохо умеет делать бусы, потому что жилка из пальцев выскальзывает, а то бы он мне сделал много-много бус. Но потом он пошел от нас, пошел туда, мимо стены с нашими ладонями, к *иным* — к удалившимся, которые его уже ждали, и я заплакала, а дети опять ко мне прилипли. И шла Ушко-Ракушка со своим ребенком на руках и снегом в волосах, и пела ему песенку, и удалилась туда, за Слабеньким. И Короток шел, но на нем не было снега, потому что он в ладонях нес огонь, и целовал огонь, и не говорил с нами. Он-Вместе и Она-Вместе держались за руки, их большие дети шли за ними также, по двое, держась за руки. И Покусанный мне ничего не сказал, но под снегом его лицо показалось мне красивым. Кругляшок прошла. Они шли и шли, укутанные в снег, к удалившимся, к *иным*, взрослые и большие дети, я видела их, хотя света не было у нас, и просила Ее сберечь нас в Ее животе. Я Глупа плакала, я Светленькая плакала, я Старуша плакала, дети плакали — и большие, и маленькие, и шла мимо нас Прекраса, на каждой ресничке ее было по снежинке, и венки из снега в волосах, губы и соски ее атели, глаза светились, завитки чернели, украшая женское место, и в каждом — по снежинке. Кожу ее обнимал снег, как тонкая шерстка, как прозрачная шкура звездного оленя, Глупа закричала: как же мы без тебя, Прекраса! Но Прекраса, не отвечая, шла туда, к *иным*. Собачка Прекрасы вскочила, но Глупа погладила ее и заставила сесть. Глупа чувствовала страшную силу в спине собачки, а все равно собачка подчинилась, тяжело дыша и поскуливая. Ее горячий пахучий дух колот в носу Глупы. Прекраса скрылась, растаяла снегом. Собачка стала собакой Глупы, она слушала теперь Глупу.

Мы — погибли. Мы больше не было. Ничего. Только дети и Глупа. Дети уже не плакали, они трогали Глупу, трогали собаку и громко дышали. Старуша говорила. Светленькая свернулась на полу, закрыв руками голову. Она тоже не плакала, она спала. Когда она проснулась, сказала Глупе, что не будет слушать ее больше никогда и уйдет к другим, у которых есть красивые большие мужчины. Что она видела во сне красивого мужчину, который ищет ее. Старуша ничего не говорила, но Глупа знала, что она думает уйти к тем, которые понимают ее язык, что ей скучно будет, если Мы нет, а есть только Глупа и дети.

Утром бури не было, и дети смеялись, лепили шары из снега. Они звали своих матерей и отцов, сестер и братьев, дядей и теток, но не плакали. Выбежали наружу раньше женщин. Старуша шла сама, она вышла первая после детей, и стояла, и не падала. Глупа вышла за ней и стала рядом. И Светленькая выбежала, она хотела сразу сбежать, но стала рядом, увидев все белое впереди. Втроем смотрели: сколько деревьев повалилось, камней сорвалось и как все занесло снегом — высотой с ребенка, умеющего уже бегать. Смотрели трое — смотрела одна Глупа со своими детьми, и она была Старушей и Светленькой, а Старуша была Глупой, и Светленькая будет Глупой, так что больше в мире никого не было. Кричали тройным голосом в холодный воздух: Ушко-Ракушка! Короток! Широкий! Вы-Вместе! Прекраса, Прекраса! Кругляшок! Слабень-

кий! Покусанный! Болело от криков горло, но Глупа кричала и кричала, потому что не было больше своих людей, и от этого так больно было в животе и в груди, что можно было только кричать».

Свет погас.

Зоэ вытянула руку, она хотела погладить и утешить эту женщину, но в темноте рука попала в пустоту, а Андрис, обняв за плечи, потянул ее назад, от экспоната, чтобы не раздалось звона, не прибежали зрители, не оштрафовали. Ему, конечно, не было жалко денег, но было жалко Зоэ, которая всегда тяжело переживала подобные вещи: любой позор, минимальный стыд — потерянный билет в трамвае, опрокинутую чашку капучино в кафе, орфографическую ошибку в письме.

— Пойдем, пойдем, — говорил он, — время не ждет, а нам еще много смотреть, нельзя задерживаться, идем.

Кисти рук столкнулись на ходу, ухватились одна за другую, сжались и потеплели, и Андрис подумал, что, если бы их теперь закрыли в той комнате, все бы получилось, не от страсти — от жалости, жалость тоже порождает желание, но поздно — и это печально, сколько можно было бы спасти!

* * *

...Когда-то мне представлялось, будто наша семья — мы вчетвером — живем на некоем острове. Особенно вначале, пока мальчики были малы, а я и муж — недавно в другой стране. На таком острове, как этот, но только необитаемом, и не существует никого, кроме нас. Или что на всей земле остались только мы. И Джоня наш.

С родственниками мужа мы не были особо близки, хотя, конечно, я напоминала ему, когда у кого из них день рождения — нужно позвонить, заботилась о хороших отношениях... Может быть, если бы в момент нашего отъезда были такие средства связи, как сейчас, все эти видеозвонки и социальные сети, я не отдалилась бы так от собственных родственников и друзей. Тогда я писала письма — в первый год настоящие бумажные письма... Но мне никто не отвечал. То ли письма не доходили, то ли адреса ты были слишком заняты. Мои друзья были молоды, начинали карьеру, работали по двадцать часов в сутки и еще по двадцать возились с детьми, встречались друг с другом, открывали для себя новые экзотические развлечения, пробовали новые экзотические блюда, боролись за существование, женились, разводились. А у меня не было возраста и цели. Я, словно в пузыре матки, плавала в закрытой капсуле, из которой можно было выйти, только освоив код — другой язык. Я болталась в этой закрытой воде, наполненной чужими буквами и словами, а сейчас лежу на открытой воде океана, и надо мной солнце, то есть определенный прогресс в моей жизни есть.

...Вчера вечером, когда мы расстали слишком уж тщательно запроваженную горничной постель, муж пробормотал: «И как поступим завтра?» Я переспросила, потому что напрочь забыла об этой экскурсии, которую мы забронировали еще из дома: поход на целый день в горы, наверх, по пещерам. Ну да. Мальчики очень хотели. Помоему, это муж хотел, чтобы мальчики очень хотели, но все-таки времяпрепровождение спортивное и разумное. Мне было только странно, что он не заметил, что я уже не хромаю. Но я ничего не сказала. То есть сказала: «Нельзя все отменять из-за меня, это и деньги, в конце концов. Езжайте втроем». — «Ты не обидишься, тебе не будет грустно одной?» — «Нет». Пора выходить из воды...

...С утра я сразу увидела Андриса и Зоэ с другой стороны пляжа. С удовлетворением, за которое тут же стало стыдно перед собой, отметила, что Зоэ хотя и выглядит в одежде худошавой, но совсем не такая подтянутая, как я: животик выпирает, ноги рыхловаты, а ведь она наверняка моложе меня и не рожала дважды. Наверно. Кто ее

знает. Я устроилась так, чтобы они меня не замечали. Лежала, хотела расслабиться молча, но поначалу не отпускало напряжение. Что если кто-то из моих упадет, сломает ногу, сорвется в пропасть... Нормальные женские мысли, в общем, даже не мысли, а так — фон. Потом пошла купаться, заплыла далеко, по своему обычаю. Внезапно этот фоновый страх исчез. Пришла в голову странная мысль: вот мальчишки вырастут, почему бы мне не развестись. Я качалась в этой идиотской мысли и в волнах так долго, что замерзла.

Причем мысль была не о муже, а о доме. Я представляла себя свободной от нашей квартиры, представляла себя живущей в какой-нибудь маленькой однокомнатной студии, почти без площади для уборки — пятнадцать минут в неделю. С возлюбленным мужем следовало расстаться только потому, что второй человек не поместится в этой комнате. Но он может приходить ко мне время от времени, почему нет. На ужин при свечах. Я не удивилась, когда, выйдя на берег, увидела пропущенные звонки на своем мобильном. Оттуда, из дома. Нас залили, мы залили, трубы прорвало...

Так и проходит благословенное пляжное время, пришлось звонить — одним, другим, третьим, чтобы все это урегулировать, чтобы передали ключ. Хорошо, что пропущенные были не от мужа. Все в порядке, ведь сердце успело замереть, когда я увидела значок на телефоне. Написала сообщение, спросила их, как они. Муж прислал в ответ «хорошо» и несколько безумно красивых ландшафтов. Один кадр — они втроем на фоне безумно красивого ландшафта, то есть все целы. Можно быть спокойной. Потом я просто сидела и смотрела в волны. Думала, что, когда приедем, нужно будет съездить в строительный супермаркет, купить подходящий инструмент. Что сначала выйдет Джо — когда я сломаю стенку, отделяющую место в квартире, которого как бы нет. Лестницу. А после Джо пойдут люди, некие люди, запертые там с самого средневековья. И когда они все выйдут, я смогу наконец...

...На солнце лежать вредно. А я не уходила. С закрытыми глазами. Сначала стало так хорошо и тепло, оранжево под веками, а потом вдруг черно — то настроение, которое ненадолго нападает на меня в любом отпуске. Каким бы волшебным ни были место и время, сладко-соленым море, на меня хоть раз нападет острая тоска по дому. Такое чувство незащитности, неуместности в чужом мире, такое детское «хочу домой!». Ха, а ведь я сравнивала жизнь и отпуск — может, и в жизни бывают такие темные моменты, когда хочется домой? Только где наш дом? В небытии?

Но надо думать не о смерти, а о детях. Хорошо, думаю о детях. Как назло, вспоминаются их драки, две кровавые драки — не забыть... Ни Марк, ни, что удивительно, Нильс не помнят, а Нильс не такой уж и маленький был. Я пыталась им не так давно рассказать, но они только улыбались — вежливо, со снисхождением к впечатлительной мамочке. А думала тогда, убьют друг друга... Когда разнимала их, оба от меня тоже хорошие оплеухи получили, с размаху, я никогда до того не била детей, тем более в полную силу, меня после этого выворачивало — физически. Но на фоне других синяков они моих ударов не заметили, не запомнили, да и вообще ничего не запомнили, мои не разлей вода — Марк теперь тоже в Берлин хочет... Хоть за ними переезжай.

Они не помнят ничего. Я помню все их любимые мультсериалы, иногда напеваю идиотские песенки из этих мультсериалов, но они уверены, что никогда ничего подобного не видели, не смотрели, улыбаются удивленно. Нильс не помнит, как его гоняли так называемые друзья, Марк не помнит, как гоняли учителя... Муж не помнит — но это ясно, он был на работе. Одна я все это ношу с собой, постоянно... Видимо, кто-то должен.

...Когда мои вечером вернулись — взбудораженные, веселые, перебрасывающиеся намеками на непонятные мне случайности и катастрофы, на смешных попутчиков, — только логичным показалось провести вечер вместе. Но я испытывала досаду — мне

хотелось к Зоэ, к ее экспонатам. Мы разговаривали и улыбались, я делала заинтересованный вид, но меня словно магнитом тянуло к уже привычному столику в баре. Муж что-то заметил: «Может, выпьем по коктейлю?» Я поспешно отказалась: если бы мы сели вчетвером, Зоэ все равно не подошла бы, к чему это. Я предложила спуститься на пляж посидеть у океана. Ведь они сегодня не были у океана. Они согласились.

Они бродили по берегу, а я сидела на полотенце, там же, где днем лежала. Волны поблескивали, кромка была белой и тихонько шипела, отступая. Их фигуры были темными на фоне воды, они наклонялись, смеялись — голоса и смех из темноты были такими моими, любимыми, что мне становилось хорошо, как дома. Это был мой маленький расчет — я та, что рассчитывает. Как всем будет хорошо. Чтобы потребности каждого из нашей маленькой семьи были удовлетворены и каждый получил свою меру радости. Год за годом. Я представилась самой себе мудрой старшей слонихой, что ведет свою семью по Африке в поисках воды, еды и счастья. Я видела таких в документалках о природе.

И если говорить о нашем доме — о квартире — именно я делала ее местом, где всем приятно, где у каждого свои праздники — и у меня самой, естественно, я же не жертва, а серая слониха с хоботом, ощупывающим листья... У нас дома никогда не было тихих войн. Каждый получал ту еду, что хотел, ту любовь, что хотел. И я делала так, что Марк мог тайком прийти посоветоваться со мной, что лучше подарить его девушке, и могла развеять обиду Нильса, у которого — старшего — девушки все еще нет.

А что Зоэ, разве я завидовала ей? Она рассказывала о себе всякую чушь: то она въехала в дерево, еще и под алкоголем, и полгода валялась в гипсе, то осталась одна и без денег в Сан-Франциско... Когда я осторожно поинтересовалась, где был в это время Андрис, она только махнула рукой — помнит он обо мне! Как раз тогда он был в Аделаиде. С детьми. Чьими, спрашивается?

Зоэ работала в Европарламенте помощником депутата. Она утверждала, что устроиться было легко — достаточно знать языки, но в ее словах сквозила уверенность, что у таких, как я, шансов нет. И на Документу работала — это огромная выставка современного искусства, я о ней много слышала, но никогда не бывала, для меня подобные мероприятия слишком шумны, да и не большой поклонник я, в отличие от Зоэ, современного искусства. Меня вполне удовлетворяют городские выставки с мирными пейзажами или невинными абстракциями местных наших художников. Потом эти ее приключения в Африке... Она работала в Африке, а я бродила по Африке слонихой... Отличный образ для привлекательной женщины — слониха.

Я сидела на полотенце, и мне становилось все холоднее, а они суетились ближе к воде и выкрикивали что-то — я перестала разбирать слова — смеялись... Еще полны энергии после дня в горах, а я устала за день, проведенный лежа. На самом деле тоже могла хотя бы бродить с ними, но не хотела показывать, что у меня уже все в порядке с ногой. Чтобы назавтра снова можно было остаться с Зоэ.

* * *

...Зоэ и Андрис прошли дальше, по изогнутому пути Ротонды, по округности. совсем не задержались у обычного вида говорившей женщины, и получалось, что слова плывут им вслед, они шли и шли, но голос не слабел:

«Так получилось, что у меня оказалось два тела, и я чередовала. Одно худенькое, спортивное, другое с округлыми формами, мягкое; лучше бы, конечно, раз уж два, чтобы одно — мужское, другое — женское, но так получилось, так получилось. Два мозга моих объединены в сеть.

Началось это с подросткового периода, когда я еще занималась легкой атлетикой, но иногда ленилась и до вечера валялась в постели с книгой, в одни дни любила помидоры, огурцы и вареную курицу, в другие — заварные пирожные. В итоге расщепилась... Поэтому тела мои, в принципе, по возрасту одинаковые, хотя первое, худощавое, выглядит несколько старше.

Запасное тело обычно спит, когда я в актуальном, поэтому и квартира мне нужна как минимум двухкомнатная, а то придут гости, на день рождения, например, а тут кто-то спит. Второму телу всегда снится то, что происходит с первым, а первое смотрит на второе и тоскует по нему. Худое тело всегда лежит свернувшись клубком, слегка напряженное, поэтому приснившееся бытие округлого тела всегда слегка напряженное, а вот тело женственное всегда расплывается на кровати. Я долго стою и смотрю на себя, испытывая ностальгию по себе иной. На это уходит много времени, что не страшно: ведь я не теряю времени во сне, а живу полноценной жизнью. Но однажды, одним светлым и ясным днем, я оказалась в двух телах одновременно, и это было такое прозрение — смотреть себе в глаза, протягивать к себе руки. Совсем не то, что испытывают влюбленные, гораздо сильнее. Но то был лишь миг, две возможности слились в одну, и я потеряла роскошь своего существования, свои два тела. Я потеряла их оба — аннигиляция. Частицу и античастицу. С тех пор я ищу себя. Если вам встречалась женщина средней худобы, со средними формами — позвоните, пожалуйста!»

Последние слова женщина выкрикнула, пытаясь достичь их, ведь свет вокруг нее уже погас.

Круг все не замыкался, Зоя и Андريس шли, подгоняемые голодом, усталостью и мыслью о домашнем диване. После женщины с двумя телами оказалась целая группа людей за праздничным столом — все темноволосые, смуглые. Белел фарфор, блестел хрусталь. Лежали бежевые салфетки, влажно поблескивала какая-то необычная еда — ее было совсем немного. Кроме того, перед каждым стояла табличка, но не с именем — с надписью, объясняющей старшинство в семье. Все были освещены одновременно, но не слишком ярко.

Сначала сказал бородатый мужчина: «Дети жаловались на то, что им приходится слишком долго ждать, спрашивали: когда уже, когда приедем, когда придем, когда будет праздник, когда ты закончишь работу и мы отправимся туда-то, капризничали, но это им не давало ничего. Пока дети ждали, они становились взрослыми».

Потом говорили по очереди — как сидели, над говорящим свет становился ярче.

Средний

«Мы были малы. День начался с мягкого ветра. Что-то сместилось в кругах, и мы ждали последствий или результатов, еще не зная, на что ориентироваться и к чему быть подготовленными. За ветром подтянулся дождь. Он был теплым и радовал нас. Мы все вышли из дому и подставили лица нежным каплям и струям. Мама молчала, отец шептал, но на чужом языке, поэтому непонятно. Его борода наполнялась водой, однако не теряла формы, как наши волосы, прилипавшие к голове. Потом мы вернулись в дом, и мы, дети, долго гонялись друг за другом, смеясь, с полотенцами, бросаясь ими, вытирая кожу и волосы себе и друг другу, в то время как родители молча сидели у маленького домашнего алтаря, на мягких травяных ковриках, глядя на нас, не вытираясь, и блики от светильника скользили по их мокрым лицам. Они почти не улыбались, но мне кажется, были тихо радостны, словно этот маленький огонек светильника, который плясал медленно, потому что ему ничего не нужно было доказывать.

Я стал посреди комнаты, глядя на каплю, застывшую на щеке матери (или все-таки медленно-медленно ползущую вниз?), но тут же был сбит смеющимися братьями

и сестрами. Потом мы сидели вокруг сковородки на старых подушках, потому что мать не хотела давать нам новые (был небольшой спор); ее гладкие, черно-седые волосы переливались, а от удлинённого лица словно исходил тихий свет. Отец исподтишка смотрел на нее, немного словно косил — его глаза такие длинные... Потом снова шепнул ей несколько слов на непонятном своем языке, она улыбнулась.

Мы все ели со сковородки, и именно во время еды мне захотелось выйти. Дома было хорошо, но мне захотелось ускользнуть от братьев и сестер. Выполнив после обеда все свои обязанности и задания, я оставил их. Через маленькие стенки-заросли прошел к полю. Черная вспаханная земля блестела влагой и исходила паром. На ней еще почти ничего не было, только наклонившись, присмотревшись, можно было обнаружить тоненькие стрелочки побегов. Небо давно очистилось и тоже казалось мокрым. Несколько белых рваных облаков. Я испачкал одежду, лежа в поле и глядя в небо, поэтому возвращался с волнением, ожидая, что меня будут ругать.

Однако когда я вошел в наш дом, в нем было пусто. Не верещали маленькие сестрички, не дрались братья, не работал отец, не напевала мать. Я прошел глубже. Все было на месте: красные коврики, золотистые подушки — и старые, и новые; кувшины и сковородки, и прочая утварь, и ширмы, и стеклышки, и шкатулка с украшениями матери, лишь живого никого не было. Я побежал посмотреть, не у курочек ли они все — хотя к чему бы идти к курочкам всем вместе? Нет, их не было у курочек, но не это испугало меня: курочки, наши веселые пестрые несущки, — они исчезли.

Я побежал обратно, но не решился снова войти в дом. Мне было страшно возвращаться, хотя теперь пришло в голову самое простое объяснение: родители с сестрами и братьями отправились в путь, в гости, моего же отсутствия в шумном хаосе сборов не заметили — ведь я ушел тихонько, никому не сказав. Куда они могли направиться? К родне, к дальним знакомым, которых не видели со дня своей свадьбы? Зачем забрали с собой курочек? Или курочки разбежались, потому что сестры забыли закрыть птичник, покормив их? Я мчался мимо зеленых изгородей обратно к полям и остановился только у границы вспаханной земли. Лицо матери, освещенное огоньком, с каплями дождя на щеках сменялось перед моим мысленным взором жесткой бородой отца, его смеющимися глазами. Что шепнул отец матери за обедом? Я опустился на колени, будто знал, что чего-то ищущий, и сразу заметил корень киржа. Удивился чуду. Я взял его в руки, отряхнул землю с его красноватых жилок и волосков, с вытянутого корнеплода. Кирж словно смотрел на меня, и мне сразу стало спокойнее. Колесо сместилось, потянув за собой колесики и гаечки — будет иначе. Зажав кирж в руке, я вышел на дорогу и пошел не к дому, а в противоположном направлении.

Там, в отеле, все произошло быстро и без слов. Я положил кирж на стойку, невысокий сморщенный портфель протянул мне маленький ключ с тяжелым брелком, на котором был номер — 42. Четвертый этаж. Обернувшись перед лестницей, я увидел девочку, немного старше меня, русоволосую, светлоглазую. Ее худоба плохо сочеталась с большими прочными ботинками для дальних дорог и громоздким, наверно тяжелым рюкзаком, приросшим к тоненьким плечам. Поднялся в свою комнату, так непохожую на мой родной дом, комнату с настоящей высокой кроватью и голыми серыми стенами».

Под светом, после недолгого молчания, во время которого приподнял и поставил на место пустой бокал, средний продолжил:

«Стеклянный лабиринт я начал строить после расставания с Эрикой. Потребность расстаться была обоюдной. Эрика так же устала от существования со мной, как я от существования с ней. Однако обоюдность не облегчила расставания, нет. Желание

по-прежнему держало нас вместе: не сексуальная привязанность друг к другу, а именно человеческая необходимость секса как таковая: мне было ясно, что после разрыва нужно будет искать кого-то другого, и мысль эта навевала печаль, потому что никто, никто не будет лучше Эрики. Разве с кем-то мне будет легче? Мы не обсуждали, но было понятно, что в душе Эрики те же сомнения, те же вопросы. Долгие вечера сидели мы с Эрикой за столом и смотрели друг на друга полными тоски глазами и пили черный чай, у которого появился неприятный кислый привкус. Днем же мы пытались сдерживаться, не указывать друг другу на недостатки в одежде и поведении, в манерах и речи, на глупость оценок текущих политических событий и нелепость принятых решений, однако редкие слова все равно покидали наши горькие рты, и их яда было достаточно. Не раз я видел маленькие соленые слезы гнева на глазах Эрики, и не раз такие же едкие слезы подкрадывались к моим зрачкам. Жизнь вдвоем становилась невыносимой, днем тела наши избегали прикосновений, несмотря на то что ночами регулярно стыковались в естественном танце — старый пустой рюкзак ее, завалявшийся в пыльном углу шкафа, словно призывал снова положить руки на хрупкие плечики.

Решившись, мы оба испытали облегчение и разошлись с уважением и симпатией. Эрика намеревалась сразу покинуть наши места, слишком душные для нее, поэтому я мог остаться в нашей скудной и скучной квартирке. Я побаивался, что желания тела будут доставлять много беспокойств, ведь я по складу духа и мыслей не могу пользоваться услугами женщин, предлагающих облегчение за деньги, корешки киржа или другие блага. Я боялся, что сон в нашей — вчера еще общей с Эрикой — постели будет неспокоен.

Однако разочарование из-за невозможности любви, невозможности близости двух людей и близости человека к миру, тоска по поводу несоответствия природы моим мечтам и юношеским представлениям, превратившимся за годы с Эрикой в сухой порошок, горький для нас обоих, были сильнее любовного сока и охлаждали поднимающуюся плоть. Тем более что с началом постройки стеклянного лабиринта у меня вовсе не оставалось ни времени, ни сил.

Впрочем, лабиринтом мой лабиринт можно назвать весьма условно. На самом деле речь идет всего лишь о стеклянной стене, улиткой заворачивающейся внутрь. Никаких тупиков, переплетенных переходов или ловушек нет в моем лабиринте — я не хотел путать еще сильнее и так запутанное человеческое существо. Мой лабиринт прозрачен, чтобы изнутри я мог хотя бы предполагать существование пространства за его пределами. Но он достаточно велик, так что пока некто по его спирали доберется до моей кельи в центре, пришелец так устанет, что не способен будет принести ядовитых чувств, и пыль разочарования стряхнется в пути с его обуви. И я смогу жить и общаться с внешним миром, не страдая слишком отчаянно.

Работа по созданию лабиринта, в котором я смогу укрыться от едкой пыли и болезненного знания, увлекла меня столь сильно, что я забыл обо всем ином. Я хотел, чтобы стеклянная стена была гладкой и высокой — три метра минимум, для чего выплавлял блоки, но потом — это было самое сложное — спаивал их между собой так, чтобы стыков не было. Долгое время у меня ничего не получалось, двенадцать раз трескалось основание стены, однако я приручил огонь и песок, и через год труд мой стал планомерным, почти без злых неожиданностей и преград. Четыре года трудился я над созданием стеклянного лабиринта с центральной комнатой покоя, и на меня накатывает волнение от мысли, что эти четыре года были счастливыми — вероятно, самыми счастливыми в моей жизни. Дивное чувство: то, что существует лишь в твоей голове, возводить в твердой реальности, видеть перед собой не внутренним, но физическим взором. Однако любое завершение несет с собой не только радость сбывшегося, но и горечь конца.

Построив лабиринт и скрывшись в его центре, я провел лишь несколько часов в тишине стекла. Жуткое беспокойство напало на меня, желание проверить все стены, желание выйти во внешний мир, желание снова быть с женщиной — будь то Эрика или какая-либо другая. Да и невозможно было, не покидая тела, жить в центре моего стеклянного лабиринта, где для тела нет ничего — ни еды, ни воды, ни места для испражнений, ни мягкого гнезда для сна и отдыха. Однако выйдя из лабиринта, я чуть ли не сразу взялся за новую стройку — на этот раз маленькую, совершенно не того уровня сложности. Я смастерил кабинку кассы. Группка людей с рюкзаками уже топталась невдалеке, и новый катер с туристами стремился к причалу.

Нужно сказать, что строительство лабиринта съело все мои сбережения: как отложенные еще во время жизни с Эрикой (каждый из нас имел собственный счет в банке), так и странное наследство, полученное несколько лет назад не от родителей, а от неизвестной мне родни. Поэтому деньги были необходимы мне для продолжения жизни. Женщины-билетерши на кассе приносят больше, чем мужчины, так что я обратился к соседке по лестничной площадке. Она с радостью согласилась: работа кассирши все-таки безопасней, чем ее обычное занятие — была она раньше одной из тех женщин, к которым я не обращался...

Очередь туристов к моему стеклянному лабиринту вскоре стала частью пейзажа, и пришлось делить приезжих на группы по десять человек, иначе, если слишком многие заходят одновременно, стеклянный лабиринт теряет смысл. Становится шумно. По воскресеньям я прохожу в центр лабиринта и, включив видеопроекцию с тихой музыкой, читаю туристам стихи, не признаваясь, что они принадлежат мне — только в углу видеопроекции маленьким шрифтом примечание: „Поэзия создателя лабиринта“.

Вернуться в эти места через столько лет,
Мы так долго ждали изменений,
Мать и отец,
Сестры и братья,
Поляны и поля.
Дети, сидящие на полянах,
Дети, играющие каплями дождя,
Складывающие из них узоры.
Узоры — это снег.
Они вырезают снежки из воды
И закидывают ими мир.
Они ждут перемен.
Все ждут перемен,
Но снег падает,
И становится тихо
И уютно —
Мы снова дома,
Вокруг все белым-бело,
А в доме оранжевые отсветы.

И дом не изменился, и снова кудахчут курочки за плетеной загородкой, и снова отец смотрит на мать, а мать смотрит на огонь и на сковородку, в которой готовится ужин, и снова шумят и балуются сестры и братья, и родители молодые, намного моложе, чем были в тот день, когда мы расстались: потому что я теперь взрослый, не просто взрослый, а приблизившийся ко времени заката, и они оказались намного моложе меня».

Первый мужчина замолчал. Он оставался освещенным, но свет с его стороны стал тусклее, а более яркий конус переместился и завис над женщиной. На первый взгляд она казалась молоденькой: миниатюрная, черные гладкие волосы и бровки, тонкое лицо без косметики, миндалевидные глаза, но, привыкнув к перемене света, Зоэ поняла, что женщина старше ее. Голос высокий, звенящий, но приятный, даже словно детский.

Младшая

«Три года назад это началось. Три года назад я утратила свою женскую сущность, но не стала мужчиной. Впрочем, утратила — слово неправильное, оно порождает совершенно неверное представление, будто у меня что-то было отобрано судьбой. Но и отпустила — тоже слово неподходящее, оно вызывает неверную мысль, будто я нарочно захотела остаться без того, что было, избавиться от него. На самом же деле все произошло как произошло, естественно, и, видимо, нет повода ни радоваться, ни сожалеть.

Когда я сижу на берегу, на остывшем песке, смотрю на спокойную рябь волн, я не беспокоюсь о том, берег ли это речной, морской или океанский. Какая разница? Если листья шуршат над моей головой и небо после заката из розового становится сиреневым, я знаю, что еще несколько минут, и сиреневый цвет смягчится до серого, вот и все. Просто смягчение цветов.

Нужно упомянуть, что с самого рождения я была настоящей девочкой. Мать рассказывала, что еще в коляске я прикладывала случайно упавший весенний цвет к едва оперившейся головке и что все мальчики в колясках ее подруг глядели только на меня, если она выходила со мной на прогулку. С детства я выбирала самые нежные ткани, прозрачные и тонкие, я сама создавала себе из них платья, я любила ласковые цвета, любила танцевать, любила колокольчики и дрожащие подвешенные монетки.

Мои движения напоминали движения кошки, когда я была ребенком, и движения пантеры, когда я вошла в девичий возраст. Я полюбила украшения, но не за их ценность — на нее мне было плевать, а только за красоту, и предпочитала со вкусом созданную стекляшку напыщенному бриллианту, гордящемуся лишь своей кристаллической структурой. Мне нравились все красивые, замысловатые вещи, потому что я была девушкой, именно поэтому. Я обожала косметические сосуды с их таинственным содержимым, баночки со спрятанным светом, бутылочки с пойманным ароматом.

Не то чтобы косметика была необходима мне — у меня было обычное хорошенькое молодое личико, я была красива, как любая здоровая молодая девчушка. В моей внешности не было ни особых недостатков, ни особых достоинств, но моя женственность и стильная одежда делали меня более привлекательной, чем сверстниц. Косметику я любила бескорыстно: мне нравилось возиться с цветочными жидкостями и кремами, с разноцветными порошками, красками, блестками; нравилось сидеть у зеркала и, словно на холсте, рисовать на своем простом лице черты египетской принцессы или ночной бабочки, инопланетянки или феи.

Эти платья и туфли, эти помады и сумочки, кружевные трусики и шелковые чулки — сколько радости они доставили мне в те времена!

Не буду останавливаться на подробностях своей личной жизни, скажу только, что сложилась она счастливой, хотя и непостоянной. Слишком сильна была магия, притягивающая ко мне мужские взгляды, чтобы всю жизнь провести с одним. Слишком увлечена, погружена была я в танец своей женской сущности — в этот водоворот, смерч. Но глубинная мудрость позволяла мне выбирать из поклонников добрых мужчин, с восхищенным благоговением принимающих мою пляску. Они заботились обо мне, приносили дары, служили мне, но не обижали и не создавали неприятностей.

Однако все завершилось три года назад.

Расставшись с другом, я позвонила дочери, ища у нее утешения. Моя дочь уже взрослая, ведь матерью я стала в совсем юном возрасте. Дочь, как всегда, ответила без тепла — я мало занималась ее воспитанием, переложив эту обязанность на собственную старшую сестру, которая с радостью посвятила молодость моему ребенку, поэтому дочь не развила ко мне привязанности. Не знаю, какая тут связь, но после этого звонка я почувствовала себя иначе. Нет, я не была расстроена, но мне вдруг стало лень проводить утренние косметические ритуалы, от которых я всегда получала такое удовольствие — волосы, лицо, тело, ногти... Духи...

И постепенно, как листья с осеннего дерева, желания и пристрастия стали облетать с меня, оставляя лишь легкость. Я все чаще искала удобства, все реже — красоты. Не знаю, было ли это связано с гормональными изменениями — климакс не был близок, мне не было и сорока. Просто так складывалось. Я подстриглась, чтобы меньше возиться с волосами, сменила каблуки на кеды, чулки на мягкие штаны, кружево на хлопок. Я стала читать другие книги и смотреть другие фильмы: никакие драмы — неважно, связанные со столкновениями мужчин и женщин или с чем-то другим, — меня не прельщали, теперь я больше интересовалась документальными фильмами о природе, о северных регионах, вечно покрытых снегом, или о том, как возникали горы — мне была интереснее неорганическая природа.

На лице моем морщины — но они не тревожат меня. Иногда я по-прежнему пользуюсь кремом, но только если сухость кожи становится неприятной. Один простой крем — вот и вся моя косметика, вся моя нынешняя алхимия.

Моя жизнь стала спокойна и проста, как мой ежедневный ужин. Ни кокетства, ни страсти не осталось во мне, и совсем другие цвета и орнаменты привлекают теперь мой взгляд. Я не чувствую себя ни женщиной, ни мужчиной, но все же человеком. В таком существовании есть достаточно много радости.

Долгое время я была спокойна и счастлива. Но теперь появилось еще другое. Еще одно изменение, которое пугало бы, если бы моя способность пугаться не ослабла. В последние годы я была человеком и хотела оставаться человеком, однако постепенно и это желание стало слабеть. Засыпая, я погружаюсь в такой глубокий покой, что мне хочется умереть.

Как у любого человека, у меня в жизни случались моменты, когда жить совсем не хотелось. Когда меня предавали, когда я не могла удержаться от предательства, гонимая своей женственностью, когда меня отрицали — родители или мужчины, сестра или дочь. Когда отвергали, когда приходилось делать аборт. В такие дни, словно ядовитый цветок из отчаяния и слез, во мне росло желание смерти. Но это было желание не смерти, а свободы, другой жизни, признания. Это была обида и пропасть между потребностью и реальностью и немного театр, зрительный зал которого был отведен Господу.

Теперь же все иначе. Нынешнее желание смерти произрастает не из противоречий, а наоборот — из согласия. Лежа в постели, полная слабости, я мысленно превращаюсь в сухую пыль и исчезаю или погружаюсь в землю так глубоко, что меня уже нет. Или даже так: мне кажется, будто я на самом деле была из мокрого песка, как те реалистичные фигуры, что умельцы лепят на пляжах, а теперь песок высох и рассыпается легко, становясь тем, чем был. Не протест в этом, но мир. Утром я удивляюсь пробуждению и долго преодолеваю внутреннее сопротивление, чтобы заставить себя встать. Меня тревожит, что в последнее время это накатывает и днем, например, когда я просто сажусь в кресло или на стул. Вот сейчас я сижу и не знаю, захочу ли встать».

Женщина опустила голову, и свет ослаб, словно по ее просьбе. Яркий конус переместился к следующей, не такой деликатной на вид, худощавой, с вытянутым лицом и волосами, собранными в пучок на макушке.

Старшая

«Как можно сравнивать мою кухню и место, где готовила мама, когда мы были детьми? Если не было дождя, она больше любила готовить на дворе, а в дождь — прямо посреди дома. Дым во все стороны, и мы этим всем дышали. Но вот как родителей, пожилых людей, отучишь, если они привыкли? Сначала я купила маленькую газовую плитку и баллоны, но они не пользовались. Мама как всегда — под открытым небом, на корточках. Потом, когда к ним провели электричество, я купила им еще и индукционную плитку. Но, как говорится, старое дерево не пересадишь.

Мне кажется, родители уменьшились за последнее время. Папа совсем лысый, борода седая и редкая, маленький старичок, а мама и вовсе похожа на маленькую седую обезьянку. Когда я приходила к ним и приводила детей (дети, конечно, всегда были в восторге, особенно Ляна, племянница, которая для меня ближе собственной дочери), я этого не замечала. А вчера родители были у меня. Сидели на моей кухне, открытой в столовую, на мягких красных стульях. Рядышком, малюсенькие, с прямыми спинками, с ладошками на коленях, как две статуэтки.

Нет, кухня у меня самая обычная. Встроенная, конечно. Она обошлась очень даже недешево, но все-таки и не безумно роскошная. Мы с мужем — обычные представители среднего класса, нас нельзя отнести к богатым, у многих имеющих нормальную работу людей в наше время такие кухни, а мы работаем оба. Как я и хотела, дверцы матовые, коричневые, в рубчик, а столешницы белые, под камень. Вся техника, все, что нужно: два духовых шкафа — это необходимо, когда у нас гости, и мне хочется подать несколько горячих блюд, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина. Шкафчики, краны — все, как обычно. В духовке решетка выезжает сама, дверцы шкафчиков открываются от нажатия — ручек нет, хорошая кухня, мы тогда даже небольшой кредит взяли, чтобы купить не что попало, а то, что на самом деле хочется, но все равно это не какая-то роскошь.

Родители сидели совершенно неподвижно в своих поблекших тряпках. Мама никогда не стригла волос, но теперь они стали намного короче — едва прикрывают плечи. Родители ничего не захотели есть на моей кухне, в моей столовой, когда муж пришел с работы и мы вместе с детьми сели ужинать. Муж сердился. Я его привычно успокоила, проведя ладонью по затылку. Мне было обидно, ведь мне так хотелось похвастаться перед матерью своим кулинарным искусством. Но я видела, что они не притворяются, им на самом деле не хочется, мои итальянские блюда для них подозрительны.

Вечером муж повез их на машине домой, дети пошли мыться и шумели в ванной, наверняка брызгались, их нужно бы приструнить, но я не шла в ванную, я плакала, пока никто не видит, на своей кухне.

Нет, не из-за родителей. Я плакала из-за своего мужа и из-за себя тоже. Я не знаю, что происходит между нами в последнее время. Мы рядом, мы ласковы друг с другом, но между нами словно стеклянная стена. Словно что-то мешает нам быть вместе — так, как некогда, когда мы только встретились. И я вижу, что мой муж это тоже видит. И, как и я, старается вести себя, словно нет никакой стены. Он ласков со мной, как я ласкова с ним. Он балует меня подарками, как я балую его лакомствами. Мы не жалеем нежных слов друг для друга. Но даже в минуты сексуальной близости, даже в моменты наибольшего удовольствия между нами словно какая-то прозрачная преграда, не позволяющая быть вместе по-настоящему. Словно мы общаемся по видеочату. Я знаю, что и он знает, и никто из нас не знает, что делать с этим стеклом. Но может быть, я плакала и из-за родителей».

Теперь взгляд света перешел на молоденького паренька, обычного симпатичного паренька.

Младший

«Со вчерашнего дня идет снег. Мне не хочется выбираться из-под одеяла. Я только протягиваю руку под трусы, чтобы нащупать своего друга. Я не собираюсь мастурбировать. Просто думаю об одной девушке. Я не так уж хорошо знаю ее. Быть может, она мне вовсе не нравится. А может, я на ней женюсь когда-нибудь, чтобы она всегда лежала на другой стороне кровати, когда я лежу на этой? Это ли не счастье — чтобы она всегда была рядом. Всегда была доступна.

Снежинки за окном летят плоские — миниатюрные диски, маленькие НЛО, полные маленьких инопланетян. Снижаются медленно, осторожно. Что подумают эти инопланетяне о нас, когда заглянут за наши лица прямо в мозг?

Недавно я вошел в комнату, где работал телевизор. На экране была девушка, ее ударили, она упала и вытерла кровь с губ. Мой друг встал. Что я мог сделать против этого? Мне не нравилась эта сцена, не нравился этот фильм, и я потом переключил канал, чтобы за едой не смотреть такую гадость — я с подносом в руках зашел и даже не мог опустить руку. Я ведь не из таких. Мне это не нравится, но он встал.

Я вожу рукой вверх-вниз, не заметил, когда начал. Смотрю на этот снег. На работу послал сообщение: я болен, не приду. Я думаю о родителях. Мастурбирую и параллельно отвлеченно думаю о родителях. Какая была внимательная нежность в их отношениях. Какие они были красивые. Думаю, у отца никогда бы не встал на такую сцену. Вообще ни на кого и ни на что не встал бы, кроме матери.

Теперь они похожи на двух облезлых лангуров, и я никак не дождусь, чтобы они умерли. И не стесняюсь так думать. Я хочу, чтобы они снова превратились в таких, как раньше.

Снег все гуще. У меня перед глазами та девушка, голая, я никогда не видел ее голой, а сейчас так ясно вижу большие ее соски. Она приседает и слегка раздвигает колени.

Вытерев руки о простыню, я пишу ей сообщение. Просто спросить, как дела, чтобы была какая-то связь между нами. Может, у нас что-то сложится. Хотя я ее почти не знаю. Мне стыдно, мои пальцы все еще дрожат, и в то же время я не думаю, что делаю что-то плохое. Мне кажется, я нравлюсь ей. Интересно, у нее на самом деле такие большие соски?

Она не отвечает. Но мне становится все спокойнее. Мне почти все равно. Окно затягивает сплошным белым, а свет в комнате кажется серым. Может, она на работе. Или в пробке, дороги наверняка занесло. Какая разница. Так спокойно. Засыпая, я вижу только белое вокруг, кажется, в комнате не осталось предметов, одна белизна — то ли снег, то ли сперма. Я — сплю».

И его, с широко открытыми глазами заявляющего, будто он спит, покинул яркий свет, переместившись к следующему — широколицему, лысому, морщинистому.

Старший

«Похороны — всегда повод собраться всем вместе. Вся семья — с женами и мужьями, с детьми, с внуками. Уже пожилые дети со своими внуками приходят на похороны отцов. Какой смысл так долго жить? Последние годы были совсем тяжелыми. Конечно, нас, детей, пятеро, но у каждого свои проблемы и свои — тоже старческие уже — болезни. Трудно со старыми родителями, когда сам созрел получать поблажки по возрасту. Впрочем, справиться со всем было бы не так уж и сложно, если бы они не были так упрямы. Как и хотели, прожили в своем домике до конца. Я уже едва помню детство, когда наша хижина казалась мне большим домом.

От дома после двух последних ураганов ничего не осталось, поэтому проводы мы организовали в городе. Мы заказали хорошую еду, мы, пожилые дети, долго спори-

ли, но все-таки нашли общий путь. Подготовили жертвы — бумажный дом, в точности повторяющий их домик, — я не хотел, но сестры.

И теперь я ем и потею. Все видят, как я потею. Волосы — те шелковые ниточки, что еще имею на черепе, липнут к коже. Никому нет дела до меня — ни маленьким детям, кружащим между столами (никто не запрещает им танцевать), ни моей жене, которой куда интереснее пообщаться с другими женщинами семьи, ни уж тем более моим собственным взрослым детям. Но всем есть дело до моего пота. Дети фыркают и хихикают между собой, находя его особо отвратительным.

Чем больше я беру этой острой и жирной еды (жена находит полсекунды, чтобы шикнуть: мол, мне всего этого нельзя), тем сильнее я потею. Но я не могу перестать есть, пока я думаю о родителях. Надо чем-то заполнить пустоту. Всегда не хватало еды в детстве, теперь нельзя перестать есть.

Они никогда не рассказывали, как познакомились. Когда мы были детьми, казалось, они должны были всегда быть вместе. Теперь я думаю, что они познакомились у моря, хотя жили мы достаточно далеко от моря. Шла женщина с развевающимися волосами, шел мужчина с бородой. Они не изменились за все годы нашего детства, а потом вдруг резко превратились в горбатых скрюченных зверьков. Борода поредела, и от волос осталось несколько седых прядей. Женщина со смеющимися глазами шла вдоль моря, мужчина с белой улыбкой и черной бородой шел вдоль моря. Люди, которым приспичило жить так. Вот и все. Все».

Свет полностью погас сразу после слова «все».

Видимо, на улице тоже стемнело за это время — в Ротонде не осталось ни лучика.

Зоэ и Андрис сделали несколько шагов в темноте, лишь тогда засветилась дежурная лампочка. Зоэ так сильно хотелось домой, что ломило ноги. Нет, не болело ничего, но все ныло: все кости, все мысли... Она пока что не начинала жаловаться на ухо Андрису, который, если верить наружности, оставался бодр и спокоен; она не желала сейчас заглядывать за наружность, чтобы к своему нытью не прибавлять его.

Последний человек Ротонды был строен, суров, он поднял руку, указал направо и сказал: «А выход там».

Зоэ чувствовала, что на нее смотрят, спиной ощущала, обернулась в последний момент: кто из экспонатов провожает взглядом?

Но смотрели из прозрачной колонны посередине — кто, кто? Гигантская фигура внутри? Смутные очертания... Огромный живой глаз? Воздух, дух? Все самое большое. В темноте за долю секунды не разобрать.

Они сразу же, едва покинув Ротонду и оказавшись на галерее, вышли к еще одному экспонату. На ходу, мельком, не допуская до сознания, Зоэ скользнула взглядом по словам на табличке. За названием «Дождь международной любви» следовало пояснение: не волнуйтесь, здесь биодатчики, датчики движения, все устроено так, что попадание в посетителя невозможно, абсолютно невысказано, совершенно невероятно, никоим образом...

Они шли, держась за руки, вдоль ограждающих галерею перил, мимо светло-сиреневой стены, когда начали стрелять. Андрис резко дернул ее на себя — попытался прикрыть, попытался прикрыться? Позже и сам не смог объяснить, что означало это его движение, нелепая попытка спасения. Они, вжав головы в плечи, неизвестно откуда взявшимся инстинктом понимая, что стреляют именно в них, на пределе паники взвизгивая, метались и подпрыгивали — бедные участники перформанса... вместо того чтобы, спокойно удивляясь и рассуждая об идеях художника, идти вперед, ведь табличка объясняла, что попадание совершенно невозможно! На стенах появлялись опаленные ямки, дырочки. Зоэ и Андрис вдыхали с присвистом, как астматики.

Закончилось, когда дошли до лестницы. Дышали. Дышали. Пока пытались наладить дыхание, испорченная выстрелами стена в мигающем синем свете, под звук сирены, отъехала и была заменена новой.

«Искусство не оставляет физических ран, — объяснил Андрис позже спокойным голосом, — все в порядке, хорошо». Зоэ нервно засмеялась и сказала: «Есть хочется. Здесь имеется хоть какой-нибудь кафетерий?»

Кафетерий оказался не так далеко, нужно было всего лишь спуститься. Правда, чтобы выпить кофе, пришлось пройти мимо сотрудника на входе, то есть покинуть экспозицию, но у них на запястьях были желтые бумажные браслеты, похожие на пластиковые браслетки отелей, — в последнее десятилетие такие все чаще стали давать в музеях вместо билетов, и можно входить и выходить по собственному желанию. Андрис утешал ее, а она хотела одного: выпить кофе, чтобы найти силы доехать домой. В кафетерии под стеклом томились пироги. Изнутри на стекле собирались капельки. Принимали только наличные. Пахло старыми сладостями. Зоэ и Андрис отчаянно рылись в карманах и наскребли на две чашки простого черного кофе и два куска самого дешевого яблочного пирога. Хотя ей хотелось латте и сливового пирога. Но сливовый пирог стоил на десять центов дороже, и этих десяти центов как раз не хватало. Андрису, кажется, было все равно, он и так обычно пьет черный без добавок. Сели за маленький столик с покрытой мелкими царапинами бежевой столешницей. За едой начали ссориться.

Зоэ не нравился вкус пирога, кофе слишком горький. Андрис спросил, что мешало ей взять наличные, если это важно, она напомнила, что отдала свои наличные за входные билеты, а он мог бы, вместо того чтобы обвешиваться кредитками... Возразил: она могла бы за билеты заплатить карточкой... Не серьезная ссора — мелкие претензии, мелкое недовольство...

И Зоэ из упрямства сказала, что они не могут уйти, не посмотрев оставшиеся экспонаты, хотя сильнее всего ей хотелось уйти. И они снова поднялись, чтобы посмотреть инсталляцию «Федор». Комната, в которую они вошли, была не квадратной, скорее напоминала по форме уют, и потолок был скошенный. Стены серые, но если присмотреться в полумраке, видно, что это обои, узор которых от времени сгладился и утонул в общей серости. Вдоль стен простые казенные столы — металлические ножки плюс дээспэшная доска. На столах аппараты радио, какие стояли на кухнях еще в восьмидесятые, из желтоватой пластмассы, динамик с колесиком. Из аппаратов по очереди говорили разные голоса, женские и мужские, иногда их перебивало шипение волн, иногда они перебивали друг друга — по очереди или одновременно...

— Алеша, — сказал Андрис.

— Что?

— Это был Алеша, а теперь Настасья Филипповна...

— Какая?

— Ну как какая! Ты будто не читала. «Идиот». А это... Кто это? Это, это Лебяд...

— Это что-то конкретное?

— Ну Достоевский же!

— Ты что, наизусть знаешь? — Зоэ спросила с раздражением.

— Нет, ну это же...

— Андрик, я на самом деле не читала.

— Как?

— Никак...

— Ладно, тише, давай слушаем...

Они остановились среди столов, среди аппаратов радио, которые, открыв на них динамики, говорили, говорили, чем дальше, тем чаще одновременно, не равнодушно

говорили, как обычно звучат радиопередачи, а обращаясь к Зоэ, обиженно, с вызовом, требуя...

— Выйдем отсюда, Андрик, мне здесь не нравится...

— Ну подожди! Хочешь, подожди меня снаружи... Я же тебя ждал, пока ты в процессе играла...

Позже беседовали, спускаясь по лестнице.

— Почему ты не читала?

— Не знаю. Когда в школе проходить должны, я уже уехала оттуда...

— Но необязательно в школе... Это же для себя.

— Послушай, а для себя я не хотела.

— Но почему? Это так странно...

— По кочану.

* * *

У Зоэ естественно выходило рассказывать все это, ее слова ложились пылинками на поверхность моего безалкогольного коктейля и медленно тонули. Зоэ с Андрисом уехали на два дня раньше, чем мы.

В последние дни мы купались, наслаждались водой и небом. Гуляли, далеко уходили по побережью. Мы с мужем держались за руки и молчали, мальчики шли впереди, о чем-то горячо рассуждали. Закаты были нереально красивы — говорят, из-за вулканической пыли. Отпуск — всегда прекрасно, но меня уже тянуло домой.

По пути в аэропорт я думала о доме. Где после ужина всегда убирала со стола, мыла Джокину миску, протирала все, собирала посудомоечную машину, включала. Опасение, что соседи будут жаловаться на шум, все эти годы дремало во мне, но никто никогда не жаловался, да и машинка у нас довольно тихая. Привычка оставлять кухню на ночь в стерильной чистоте осталась еще со времен *там*, до отъезда, от нашей первой битой хрущевки, в которой по ночам выползали тараканы, — мысль, что они побегут по нашей посуде, вызывала дикое отвращение.

Вечером мы все четверо по очереди принимали душ, как минимум трое — если кто-то из мальчиков помылся после спорта или разленился в этот день. Последний из нас уже плыл в тумане с запахом гелей и шампуней и после душа открывал окно в ванной: если пропустить проветривание, заржавеет батарея и покроется плесенью потолок. Часто все мои засыпали до меня, а я лежала в постели с книгой, посматривала на часы и прислушивалась к сопению посудомойки. Потом выбиралась из-под одеяла, проходила в ванную. Там было холодно. Я сначала еще шире открывала окно и выглядывала в ночь. Светофор освещал дорогу зеленым, иногда проезжала машина. Качались или неподвижно темнели деревья. Иногда висела луна. Иногда сеял дождь. Потом я прижимала раму и опускала ручку. Это было последнее, что я делала для квартиры за день. Мальчики и муж обычно не просыпались, только Джока иногда фыркал со своего места в полусне. Я вернусь домой, но больше никогда не буду мыть собачью миску по вечерам. Никто не будет слышать, как я иду ночью в ванную, чтобы закрыть окно.

Для чего люди вообще заводят домашних животных? Может, чтобы посмотреть на жизнь, на прошедшее и предстоящее в миниатюре, в меньших масштабах? Вспышка жизни и тьма угасания на отрезке в полтора десятилетия, а не в течение семи-восьми. Джо был смешным малышом, когда его купили, а я была взрослой женщиной, он умер стариком, а я все еще не старая взрослая женщина. Но детство было и у меня, и эта последняя фаза тяжелого дыхания будет и у меня, если самолет не рухнет в океан, разумеется. Некоторые домашние животные вообще года три живут, по-моему. Грызуны всякие. Зачем их заводят? Поупражняться в принятии смерти, как в анекдоте?

Когда чемоданы сдали, я почувствовала себя свободнее. В ручную кладь всегда беру минимум, я не понимаю людей, отчаянно меряющих и взвешивающих, пытающихся протащить с собой в салон половину имущества. Без чего не могут они провести пару часов? Мне кажется, что в синем и в черном чемоданах, на ручки которых приклеили ленты аэропорта, все мое — мое прошлое, мое будущее. Не только мое, их тоже — и бывшая школа, и будущий университет Нильса, вперемешку с работой мужа, с новым проектом, которого он боится, и тут же влюбленности Марка, и все наши мысли, что было, что будет, а теперь сердце успокоится, мы все сдали, мы можем побыть свободными в воздухе. Самолет взял разгон и сразу оказался в небе над волнами. Мне досталось место у окна — с тех пор, как мальчики подросли, я могу рассчитывать на такие привилегии. Им не мешал разделяющий их проход; муж сидел рядом со мной.

— Извини, — сказал он. — Глупый отпуск получился. Я думал, мы будем проводить время вместе, а вышло, что ты все время была одна. На самом деле глупо, пацанов уже не нужно было развлекать, как маленьких...

Его слова мешали мне смотреть на океан. Я пробормотала:

— Да нормально.

— Я просто не сообразил... надо было отправлять их вдвоем, и тебе бы не приходилось пить в одиночестве. Они уже большие, взрослые люди. Они так быстро растут... До меня не доходит, что у меня совершеннолетний сын, — он усмехнулся. — Даша, как могло так получиться, мы же сами только-только были такими... Конечно, я должен был оставаться с тобой...

— Но я и не пила в одиночестве... Это все были безалкогольные коктейли: вода, сироп и сок.

Мне не хотелось продолжать разговор. Часы уходили, минуты уходили, через какое-то время океан исчезнет, внизу будет серая гористая земля. Однако муж не унимался:

— Послушай, ты не обязана говорить, что коктейли были безалкогольные... Ты взрослый человек, я просто хотел попросить у тебя...

— О'кей, принято.

Еще немного, и я бы всплыла. Но я видела, что Нильс только притворяется, будто смотрит в телефон, а на самом деле прислушивается. Видела вместо океана. Вот и свобода, и воздух... Тут вспомнила о проблемах с лопнувшими трубами — естественно, отдохнуть дома не выйдет, сразу придется *что-то решать*... Интересно, залили ли мы дерматолога?

— Но это все нога... Как она сейчас? Так жаль, что прямо в самом начале...

— Сейчас хорошо.

Я на самом деле ушибла лодыжку или притворялась?

Волны стояли на месте, почему с неба кажется, будто они стоят? Та же иллюзия, что в нас: бежим, как волночки, пока не заканчиваемся, а вода остается, качается дальше, и новые бегут и кажутся себе чем-то отдельным, оформленным и стабильным — личностями. Облако пролетает под нами... В конце концов, ничего не произошло, со мной ничего не произошло. Я живу свою жизнь, хорошую жизнь, есть почти восемь миллиардов способов прожить свою жизнь, и среди них нет ни правильного, ни неправильного.

Память у меня отличная, больше двадцати лет прошло, а я помню: нарративный подход к историографии, спецкурс. Хороший был такой молодой парень-доцент, на кафедре его не любили, зато любили девчонки-студентки — а я, была ли я влюблена? Мы слушали раскрыв рот — настолько это было иначе, чем у других преподавателей. Все в мире полно историй, но на самом деле историй в мире не существует. Они есть только в наших головах, потому что мы, люди, без них не можем — это наш способ познавать. А мир может. Истории конструируем мы. В мире существует стремящееся к бес-

конечности количество событий, то есть изменений состояния. Из аморфной массы этих изменений, иногда неосознанно, иногда осознанно, отбираются подходящие события — остается их удачно скомпоновать, хорошо изложить — и, пожалуйста, история! У разных наций (а нация есть конструкт) из одного и того же происходящего складываются совершенно разные истории, ко лжи прибегать необязательно — просто отбрасывая неподходящие события, отбирать нужные и соответственно их изображать.

Из моей жизни можно составить совершенно разные истории. Можно сделать историю в феминистическом ключе: о том, как талантливая девица с красным дипломом вышла замуж, родила дважды (мальчиков!), и ее отличная память и талант вместе с дипломом утонули в бесконечных потоках быта. Только не упоминать, что окончила исторический, а не экономический, потому что какая карьера после исторического? А можно создать историю с точки зрения меньшинств, о том, как эмиграция разбила мои постдипломные мечты — если умолчать о поездках на острова в океане и других приятных вещах. Или наоборот — рассказать историю успеха, почему бы нет — ведь мы с мужем начинали с нуля.

Можно сложить историю о счастливой красавице, которая любила и была любима, не предавала и не была предана и никогда не теряла ни доверия, ни тепла. О женщине-богине, которой служило трое мужчин и пес, которая едва слышным, но не терпящим возражений голосом — я немного порисуюсь, ладно? — отдавала указания, ведь она одна знала суть жизни и необходимое для радости, словно серая слониха, ведущая семью к тайной воде. Но вплетала в свои указания и маленькие капризы: хочу океан, хочу остров, и чтобы волны шли до самой Америки, и огромные крабы шелкали клешнями, наблюдая закат, и киты плескали хвостами. И что им оставалось, как не бросить все: друзей, учебу, подругу, работу. Найти деньги, место и время, сделать так, чтобы она улыбнулась. Или историю о женщине, которая из всех любящих ее любила только пса, и когда пес умер, стала задумываться о самоубийстве, заплывать далеко в океан и закрывать глаза.

Существует больше восьми миллиардов историй, среди них нет лишь истинной и нет ложной.

Я повернула лицо к мужу. Он уже смотрел на экран своего ноутбука. На минуту стало любопытно: узнала бы я его, если бы, допустим, не видела все эти двадцать лет? Нет больше русских кудрей, совсем другой овал лица — все-таки плюс килограммов двадцать, он тогда вообще очень худой был, мама моя ужасалась. Он стал даже привлекательнее, солиднее, но куда пропал тот мальчик? Почему я люблю этого мужчину? Мне вдруг стало жаль его — и его, и себя. Мне захотелось обнять его, но мы были привязаны к сиденьям ремнями, потому что снова обещали зону турбулентности, которая снова не наступала, и я спросила:

— Алеша, а хочешь, я расскажу тебе о Зоэ?

Но как всегда, когда я хотела рассказать ему о Зоэ, он не ответил, будто не расслышал.

Так прошла моя первая встреча с океаном. Фотографии с Зоэ я не выложу из-за закона о защите данных, я не представляю, где Зоэ искать, чтобы попросить разрешения, фамилия ее мне неизвестна. Знаю, в РФ к этим вещам относятся свободнее, но я так привыкла. Фотографии океана выложу позже — нужно разобрать, их около тысячи. И будет множество лайков — от незнакомых мне людей, и будут комментарии от знакомых, на которые так скучно отвечать.